



Рита Лурье

Рыжая

«Литнет»

2025

Лурье Р.

Рыжая / Р. Лурье — «Литнет», 2025

Молодой священник замаливает грехи прошлого, пока к нему на исповедь не приходит женщина с рыжими волосами, которая рассказывает ему свою историю. Их историю: Двух братьев, влюбившихся в свою сводную сестру. Старший, Винсент, был образцовым сыном, пока страсть к Шарлотте не разрушила его жизнь. Младший, бунтарь Тобиас, готов был предать весь мир огню ради неё. Кого выберет Шарлотта? И кто уцелеет на пепелище, в которое их запретная любовь превратит когда-то крепкую семью?

© Лурье Р., 2025

© Литнет, 2025

Содержание

Пролог.	5
Глава первая.	9
Глава вторая.	17
Глава третья.	25
Глава четвертая.	32
Глава пятая.	42
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Пролог.

...все произошло из праха и все возвратится в прах.

Ис 29:4.

1978 год. Каннелтон, Индиана.

Стены из темного камня не пропускают удушающий летний зной. Порода, когда-то подарившая имя этому крошечному городку, нагрелась на солнце, впитав в себя его тепло, и местами покрылась конденсатом. Хочется собрать капли ладонью и умыться, но я знаю: даже агиасма в массивной чаше у входа сейчас горячее кипятка. Лучше лишний раз здесь ни к чему не притрагиваться, чтобы не схлопотать ожог.

Мне трудно привыкнуть к капризам субтропического климата — в такие моменты я с тоской вспоминаю дом, где бы он ни находился. Умеренно теплое лето, колючие зимы, ветра и голубую поверхность озера Мичиган. Непостижимо, оно не так далеко, как кажется, — на севере штата, но, по моим ощущениям, расстояние до него измеряется не в милях, а в прожитых годах.

В любом случае нельзя, запрыгнув в автомобиль, вернуться на десять лет назад. Не сомневаюсь, что найду одно из великих озер на своем прежнем месте, но слишком многое изменилось с тех пор, как я в последний раз вглядывался в его воды с берега. Да и город, некогда величественный, как древний Вавилон, постигла не менее печальная судьба.

На подоконнике целое кладбище насекомых. Полосы солнечных лучей простреливают сквозь пыль, кружащуюся в душном воздухе. От жары лакированное дерево исповедальни источает особый, специфический запах. Но скрываться здесь, предаваясь беспомощной ностальгии, куда лучше, чем вернуться в дом, картонные стены которого совершенно не спасают от зноя. Там я чувствую себя жуком в спичечном коробке, как те, которых мы в детстве частенько ловили с братом. Ловили и отпускали. Мы не были жестоки. Тогда.

Время покаяния еще не закончилось.

Не знаю, как насчет немногочисленной паствы этого прихода, но мое — так точно. Потому я промакиваю платком пот со лба и пытаюсь сконцентрироваться на чтении Священного писания. От духоты кружится голова, а мысли становятся ленивыми и вязкими, все время норовя утечь не в то русло. Мне приходится напомнить себе, что я сам это выбрал и как долго к тому шел. Адское пекло южной Индианы — вовсе не геенна огненная, где мне стоило бы быть за все, что я натворил, так что глупо роптать на свою участь.

Даже если никто так и не придет, как уже частенько случалось, я все равно буду ждать в надежде, что смогу помочь хоть одной заблудшей душе найти путь к свету. И, быть может, спасая других, я когда-нибудь искуплю все то, из-за чего оказался в этой точке бытия.

Так далеко от озера Мичиган.

Так далеко от Детройта.

Так далеко от дома.

Так далеко от...

Из-за жары городок будто вымер — жители благоразумно прячутся по домам, оттого любой звук ощущается раскатом грома в липкой полуденной тишине. Это не трубный глас Судного дня. Это — звук мотора. Мне не нужно видеть машину, чтобы безошибочно определить, — она сошла с конвейера совсем недавно, ведь в последние годы двигатели стали звучать намного тише. И хоть я никогда особо этим не интересовался, невозможно вытравить из своей памяти детство в городе, где все так или иначе были связаны с автомобильной промышленностью. Моя семья не была исключением.

Шины шуршат по гравию и песку. Гул мотора стихает, и последовавшая тишина кажется зловещим предзнаменованием. Каннелтон — пропащая дыра с населением меньше двух тысяч

жителей, где просто неоткуда взяться современному автомобилю. У церковных ворот сейчас паркуется кто-то чужой. И я жалею, что священнику не пристало носить с собой пистолет. Он бы мог пригодиться. Если им все же удалось меня отыскать.

Или ей.

Озеро Мичиган все же ближе, чем кажется.

Стук каблучков резонирует в каменных сводах здания. Я закладываю место в книге и, пригнувшись, пытаюсь разобрать хоть что-то сквозь ажурную резьбу на дверце исповедальни, но вижу лишь силуэт, окутанный облаком пыли. Призрак исчезает за другой дверцей. И душный воздух внутри кабинки колыхнется от движения, в него вплетается аромат духов. Напряжение чуть ослабевает — это женщина. Но она все-таки может быть одной из них. Мне неизвестно, кого они могли отправить за мной. Остается только уповать на то, что они давно утратили к этому интерес.

— Святой отец? — голос мне незнаком. — Вы здесь?

— Да, — удается выдать мне.

Я пытаюсь успокоить себя — одно лишь воспоминание о прошлом не могло воскресить к жизни прежних демонов. Им не найти меня, да и никто не стал бы искать. Былое погребено под прахом времени. Его больше нет — оно утратило власть надо мной и моим настоящим. Оно живет лишь в мыслях. В прохладных тенях и расплывчатых образах.

Эта женщина случайно оказалась в Каннелтоне, увидела церковь и пришла за тем, зачем приходят сюда. Возможно, она специально уехала подальше от родных мест, чтобы доверить свои тайны тому, кого никогда больше не встретит.

Я прекрасно ее понимаю.

— Что мне нужно говорить? — спрашивает она. Ее голос звучит с явным смятением, сопровождаемая легким скрипом ткани платья на спине о деревянную стенку. Она нервно ерзает на месте. — Честно говоря, я никогда не была... на исповеди. И я не католичка.

Мне хочется признаться, что и меня, по правде, не должно здесь быть, а то, что я ношу колоратку, по-своему абсурдно. Мой отец — нерелигиозный еврей; мать, хоть и была католичкой, но не сочла это достаточно весомым поводом, чтобы не совершать самоубийства. Вероятно, узнай они о том, как сложилась моя судьба, нашли бы это чрезвычайно забавным.

Но подобные детали моей биографии оставлены за чертой, которую я сам провел много лет назад, избрав свой путь. В сухом остатке: оба моих родителя были глубоко несчастными людьми, а я просто решил стать тем, кто замолит их грехи, раз сами они не порывались к искуплению. Даже если придется посвятить этому всю оставшуюся жизнь, я готов. Больше некому.

— Что же тогда привело вас сюда? — мягко интересуюсь я. Мысли об отце и матери всегда отзываются во мне усталостью и печалью, опустошая все душевные силы. Но мне нужно собраться с силами и помочь этой женщине, кем бы она ни была.

— А что приводит людей в церковь? — откликается она с глухим смешком. Она серьезна.

Ее порыв свести все в шутку — метод самозащиты, который мне предельно знаком. Судя по голосу, она молода. И в прежние времена это воодушевило бы меня поддержать затеянную ей игру и придумать остроумный ответ. Но теперь все иначе. Ей нужна помощь, а не легкая светская беседа.

— Как правило, они ищут искупления, — говорю я, — или просто хотят быть услышанными.

— Хорошо, — соглашается незнакомка. — Мне это подходит. Я хочу быть услышанной. Я молчала слишком долго.

Ее слова заставляют меня вздрогнуть, и, чтобы вернуть самообладание, я поглаживаю пальцами кожаную обложку книги в своих руках. Но и эта крошечная деталь не успокаивает, а вновь напоминает о прошлом, тени которого кажутся слишком яркими этим жарким солнеч-

ным днем. От отца всегда пахло грубой кожей и химикатами, что использовались для ее обработки. Он уже не замечал, а въедливый запах преследовал его повсюду, словно желая обличить, откуда он вышел и кем стал.

Но... все произошло из праха и все возвратится в прах.

И мне отчего-то кажется, что и женщине за перегородкой это известно. Про быстротечность жизни и тщетность всех наших порывов. Про отца, а точнее его стремление возвеличиться, обернувшееся для него, как и для всех нас, трагедией. Одной из трагедий.

Незнакомка лишь убеждает меня в том, когда начинает говорить:

— Я читала Библию, — заверяет она. — В общем... пыталась по-своему подготовиться. Кажется, я нарушила почти все возможные заповеди, кроме, пожалуй, «не убий». Или... нет... — Она умолкает, и ее дыхание сбивается, становясь тяжелым. Ткань ее одежды шуршит, а следом раздается хруст костяшек, так сильно она стискивает свои пальцы. Ее тень шевелится — она качает головой. — Но... по правде говоря, меня не волнуют все заповеди, а только некоторые из них. Знаете, святой отец, мне казалось, что такая грешница как я просто вспыхнет, переступив порог церкви, и обратится в горстку пепла, так что... мне повезло, что этого не случилось.

Я пытаюсь разглядеть ее лицо сквозь решетку, но ее голова низко опущена и скрыта полями шляпы. Вероятно, она не хочет, чтобы я узнал ее. Темный фетр покрыт пылью, оставленной долгими часами в пути, что она провела, отправившись сюда из Чикаго.

— Через месяц я выхожу замуж, — продолжает она, — но я не хочу этого. Я не люблю своего мужа, хотя он достойный человек, а я... Я не заслуживаю его. Он не знает всей правды. Я не хочу обманывать его. Я слишком устала ото лжи. Вся моя жизнь — это ложь. Но раньше мне казалось, что я просто жертва обстоятельств, что я не могла поступить иначе и от меня ничего не зависит. Но слишком многое я делала по доброй воле, и никто меня не заставлял.

Я не знаю, что ей ответить, и сомневаюсь, что она нуждается в каких-то словах, когда в ней накопилось столько собственных, невысказанных за долгие годы, проведенные в молчании. Молчании, на которое она сама себя обрекла. У меня свои обеты, принятые в момент рукоположения. У нее — свои.

Она всегда была загадочной. Думаю, что она пришла сегодня, чтобы хоть немного приоткрыть завесу тайны. И я прав.

Она продолжает говорить, и ее голос дрожит, срываясь на шепот:

— Никто не заставлял меня спать с собственным братом. Я сама этого хотела. Что скажете на это, святой отец? И сделала бы это снова, ведь я больше никого никогда не любила так, как любила его. Мне нравилась наша запретная связь. Это сводило меня с ума и заставляло кровь закипать. Мне нравилось тайком пробираться к нему в комнату и нравилось, когда он приходил ко мне, пока за стенкой от нас спали родители и наши младшие братья. Мне нравилось быть тихой, пока он брал меня, и нравилось отдаваться ему. Нравилось все, что он со мной делал. Я была вне себя от ярости, когда между нами встала другая женщина, но и это не оказалось серьезным препятствием. Он изменял ей, своей жене, со мной. Это тешило мое самолюбие. Мою гордыню. Питало мою греховность, ведь вместо законного союза он выбирал то низменное, грязное и гадкое, что мы творили вместе. Его супруга была благопристойной особой, она не позволила бы делать с собой и половину тех вещей, что позволяла я. А я тешилась мыслью, что только мое тело способно утолить его голод, что только я пробуждаю в нем...

— Довольно, — обрываю я, но слова звучат тускло и невразумительно, едва продираясь через спазм в горле.

— Вы сказали, что я буду услышана, — запальчиво напоминает она. — Так позвольте мне это. Хоть сейчас.

Я теряюсь с ответом и делаю то, чего мне точно не стоило делать, — смотрю на нее сквозь ширму в тот самый момент, когда чувствую на себе ее взгляд. Ее подбородок гордо вздернут, и

я наконец-то могу видеть ее глаза и выбившиеся из-под шляпы огненно-рыжие волосы. Меня и раньше завораживал их цвет — не нежный, золотистый, как у многих других обладательниц подобной масти, а насыщенный медный, красный на солнце. Цвет греха. Ее волосы всегда обличали его, вопреки нежным, кротким чертам и смиренно опущенному взгляду.

Сейчас она глядит смело — сквозь кружево ширмы прямо мне в глаза.

— Однажды... — произносят ее губы, — он назвал меня шлюхой. Это разбило мне сердце, ведь я была всего лишь глупой влюбленной дурочкой. Но теперь думаю, он был близок к истине... иначе я тяготилась бы нашей связью. Не грезил бы о ней потом, когда все закончилось, — она глухо смеется. — Я просто рыжая тварь. Я шлюха. Я не раскаиваюсь, а испытываю трепет и вожделение. Я чудовище. Я... не хочу прощения. Мысли о былом вызывают во мне совсем другие желания. Я соскучилась и изголодалась по тому, что испытывала только с ним. Рядом с ним. Я готова осквернить даже священное место, притрагиваясь к себе прямо сейчас, потому что воспоминания об этом доставляют мне куда больше удовольствия, чем мой жених, чем все...

— Хватит, — беспомощно молю я. — Если ты не ищешь искупления, то ради чего ты здесь?

Я снова утираю пот со лба, но теперь тому причиной вовсе не душный, спертый воздух, ставший тяжелым от ее духов и ее присутствия. Мне трудно дышать и хочется с разбегу броситься в холодные воды озера Мичиган, но ни один водоем, ни все льды чертовой Антарктиды не способны остудить этот жар. Он идет изнутри, из ада, разверзнутого ее словами в моей душе. Это пламя не греет, а уничтожает. Пламя ее волос, ее голоса.

Она.

— Я хочу покаяться в другом, — говорит она, и ей, судя по всему, тоже трудно совладать с собой. Я слышу ее шумное, сбивчивое дыхание, такое знакомое. Я слишком хорошо изучил его за годы и так и не смог забыть. Она заставила меня воскресить все в памяти в мельчайших деталях. Невозможно вычеркнуть все ночи, о которых она говорила, — полные порока, когда мы упивались тем, что творили. Она знала правила и была бесшумной, и все же не могла запретить себе дышать.

Но я никогда прежде не слышал ее голос.

— Я лгала не только всем вокруг, но и ему, — признается она. — Я все разрушила. Стоило давно признать, что нас не связывают кровные узы, рассказать правду о моей матери, о том, как все было на самом деле. Но мне не хватило смелости довериться единственному человеку, который имел право знать правду. Я...

Она замолкает и прячет лицо в ладонях, а затем остервенело сдергивает шляпу и комкает ее в руках. Я все еще не вижу ее черт, но теперь моему взору открыты ее волосы. Неопалимая купина. Ржавый металл, ржавчина, теперь пожирающая руины Детройта.

Города, где все это началось, где я увидел ее впервые.

— Прости меня, — выдыхает она и, шумно хлопнув дверцей исповедальни, выскакивает наружу. Я следую за ней и хватаю за запястье, тонкое, как и прежде, что незначительного усилия достаточно, чтобы переломить его, словно сухую ветку. Много лет назад я всерьез думал об этом. Я мечтал уничтожить ее и мне нравилось придумывать способы, как причинить ей боль, а в итоге — выбрал самый изощренный из них. Я добился небывалых успехов. Она смятена. Уничтожена. Я победил.

Но сейчас это ни к чему.

В ее глазах стоят слезы, когда она все же поднимает на меня взгляд.

— Как ты меня нашла?

Глава первая.

Винс.

1963 год. Детройт, Мичиган.

Как правило, отец не приезжает за мной после школы, так что увидеть его оливковый «Форд Фалкон» 1960 года на парковке — уже событие. Он слишком занят. А я не Тобиас и вполне могу добраться домой самостоятельно, если нет тренировки или иных дел в городе. Осталось не так много времени, прежде чем я обзаведусь своими колесами. В общем, это все из ряда вон.

Отец курит, опустив стекло и откинувшись в кресле, и его сосредоточенный вид заставляет меня насторожиться. Он провожает взглядом детвору, болтающуюся во дворе, но, судя по напряженной морщинке между бровей, мыслями очень далеко. Он мрачен. И его мрачность контрастирует с погожим весенним днем.

Его не назовешь весельчаком, да и в целом наша семья сейчас переживает не лучшие времена. Я предполагаю, что он здесь неспроста.

Мои опасения — не пустая паранойя.

Полгода назад мама сняла номер в великолепном отеле «Lee Plaza» и, не оставив прощальной записки, пустила себе пулю в лоб. Это стало глубоким потрясением для всех нас, хотя мы — я и отец — в каком-то смысле чувствовали, что к этому все идет. После второй побывки в психиатрической лечебнице мама категорично заявила, что туда не вернется. Электрошоковой терапии она предпочла заряд свинца в голову.

Потому я совсем не радуюсь появлению отца.

И не зря.

— Что стряслось? — спрашиваю я вместо приветствия, занимая пассажирское сиденье рядом с ним. В салоне пахнет табаком и кожей. Привычные запахи не успокаивают, хотя невольно навевают воспоминания о детстве, когда дед водил меня на производство и рассказывал, как там все устроено. Деда давно нет. С ним бы мы не чувствовали себя такими потерянными, брошенными на произвол судьбы, обескураженными маминым эгоистичным поступком. Дед взял бы все в свои руки. Починил нашу жизнь.

Мы с отцом худо-бедно справляемся. Но Тоби... Я сразу волнуюсь о нем — не случилось ли чего-нибудь с ним.

Нам всем тяжело, но ему досталось больше всех. Я хотя бы достаточно взрослый для того, чтобы знать, как все было. Я долгие годы наблюдал разложение маминой личности. А Тоби двенадцать, и мы сказали ему, что мама просто «умерла», без объяснения причин. Люди умирают каждый день. Происходят разные ужасные вещи — с этим нужно смириться. Идет война, страна сейчас напоминает пороховую бочку. Даже Детройт уже не тот, что прежде. Оттого я каждый день провожаю брата домой, чтобы обезопасить от возможных потрясений. Впрочем, любое из них не так страшно, как наша потеря.

Когда умер дедушка, Тоби был слишком маленьким и толком не понял, что произошло. Можно сказать, что он и не сталкивался со смертью лицом к лицу. На похоронах он хотел спать, жался к маме и, конечно, не смог осознать горечь утраты в полной мере. Дед — с его прокуренным голосом, глубокими морщинами и старомодным костюмом — просто перестал существовать, просто уснул в черном лакированном ящике. Тоби побаивался его. Для него этот призрак прекрасной эпохи казался просто ворчливым старикашкой, и с его уходом ничего не изменилось.

— Что-то с Тобиасом? — тороплю я.

Отец поворачивается и выпускает в салон струйку дыма. Неизменная шляпа-федора бросает тень на его глаза, и они кажутся совсем черными и безумно усталыми. Только сейчас я замечаю, как он постарел и осунулся за последнее время. Носогубная складка, словно трещины на коре древнего дуба. Редкие солнечные лучи, пробравшиеся сюда, золотят едва заметную щетину на его подбородке. Я догадываюсь, что он изменил своим привычкам и пил алкоголь. И мне все страшнее.

Но отец вдруг улыбается. Треплет меня по волосам, а я не могу вспомнить, чтобы он хоть раз когда-либо раньше так делал, — со мной или с Тоби. Он всегда очень собранный, строгий и чинный в общении. Фамильярности с собственными детьми не в его духе — спасибо дедовской муштре, тяжелому детству и армейской выправке. Он — скала, за которую мы цепляемся посреди шторма, устроенного мамой. Он, безусловно, образец для подражания. Я стараюсь равняться на его идеал, но меня раздражают эмоции.

Гнев. Обида. И тревога за брата.

— Все хорошо, парень, — говорит отец, ловко удерживая сигарету на нижней губе вопреки всем законам гравитации, — но ты большой молодец, что о нем заботишься.

Не знаю, сколько я ждал этих слов, но, наконец-то услышав их, признаться, не чувствую совершенно ничего особенного. Я уже так привык быть правильным, удобным, ответственным и не доставлять проблем, что и сам воспринимаю это как данность. Вероятно, раньше, до смерти мамы, его слова тронули бы меня. Но сейчас между мной и миром плотная завеса печали.

В послании к коринфянам сказано: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло». Я вычитал это в маминой Библии, хотя сомневаюсь, что она когда-либо сама в нее заглядывала, а не хранила ее просто в память о чем-то важном, как и многую другую религиозную атрибутику, что перевезла из отчего дома в дом мужа. И не нужно разбираться во всей этой христианской догматике, чтобы знать: самоубийство — тяжкий грех. Она его совершила. И я не знаю, почему. Ее диагноз — слабое объяснение произошедшего. Многие люди годами живут с депрессией. В конце концов, у нее были мы. У нее был Тоби, в котором она души не чаяла.

Никто не знает. Я размышляю, знает ли отец. Он тем временем продолжает:

— Собственно... я и хотел тебя попросить поговорить с Тобиасом.

— Поговорить? — переспрашиваю я. — О чем это?

Тоби сильно замкнулся в себе и не допускает в свой плотный кокон даже меня. В школе он держится в стороне от товарищей, дома — смотрит телевизор, листает комиксы или делает уроки в одиночестве. Он отказывается от любых предложений составить ему компанию. Но я понимаю, что к нему лучше не лезть, как бы мне ни хотелось как-то его расшевелить.

Ему нужно время. Потом обязательно станет легче.

— Я женюсь, — заявляет отец. — И лучше, наверное, чтобы ты ему об этом сказал.

И хоть эти слова звучат, как гром среди ясного неба, я не испытываю злости на отца и легко нахожу ему оправдание. Прошло слишком мало времени со смерти мамы, но ее поступок — бегство в небытие — был ее выбором. Мы остались и нам как-то нужно жить дальше. Я применяю к отцу свою собственную логику, а мой мир во многом крутится вокруг младшего брата и его блага. Тоби нужна мать, ему нужно то, что ни я, ни отец, ни няня ему дать не способны.

Мать, которая одним осенним днем не вышибет себе мозги.

Кажется, я злюсь на нее за этот поступок куда сильнее, чем думал. Злюсь, что она бросила его — беспомощного, нежного, уязвимого ребенка. Мы-то с отцом способны справляться и сами. Или нет. Отец — нет.

Иначе не захотел бы привести в наш дом другую женщину и утешиться в ее объятиях.

Я впервые допускаю мысль, что он не такой сильный, каким я его всегда считал.

— Ты не сердишься? — осторожно спрашивает отец. Он выбрасывает окурок в окно и поглаживает руль. Кожа его перчаток скрипит об оплетку. Его перчатки — напоминание о том, кем мы были и кем стали. Дедушка сам шил перчатки и разносил по домам, по крупице выстраивая семейное дело, чтобы его дети и внуки жили в городе моторов, как короли, и процветали. Вопреки всему. Он любил это повторять, разглагольствуя о трудном пути из нищих европейских эмигрантов в американскую промышленную элиту.

Я помню его истории. Потому — нет, я не сержусь. Я верю, что отец поступает правильно.

— Нет, — отмахиваюсь я. — С чего бы?

— Винсент, — отцовский тяжелый, строгий взгляд пригвождает меня к месту.

Я вжимаю голову в плечи. Меня обижает его недоверие. Я не Тоби. Я умею держать себя в руках и прекрасно понимаю, как устроен мир. Но отцу тяжело поверить в мое смирение. Он в курсе, что иногда я из любопытства почитываю мамину Библию, и советует «не увлекаться». Дело не в этом. Он отказывается признать, что мне хватит мудрости увидеть в его поступке скрытый смысл вовсе не из-за того, что я с чего-то вдруг проникся христианскими идеями о всепрощении или чем-то подобным. Он ждет всплеска эмоций. Любой другой на моем месте разгневался бы и счел новость о скорой женитьбе предательством.

Если уж на то пошло, то это мама предала нас.

— Так будет лучше для всех, — заверяю я и выдвигаю свои доводы: — Тоби нужна мать, а тебе, надо думать, жена.

Отец вздыхает и качает головой. Он выуживает из пачки еще одну сигарету, продолжая испытующе смотреть на меня, будто подначивая. Это сбивает с толку. С детства ко мне предъявляли совсем иные требования — быть ответственным и старательным, не болтать попусту, получать хорошие отметки в школе, ценить те возможности, ради которых дед и отец когда-то гнули спину. Сейчас отец ждет чего-то другого. Я не понимаю чего.

— Даже не спросишь, кто она?

Я пожимаю плечами.

— Она хорошая женщина, — заверяет отец, словно виновато, и наконец отводит взгляд. Он сдается.

Если это было испытанием на прочность, я его выдержал.

Я трачу приличное количество времени, чтобы придумать, как выполнить отцовское поручение и помягче донести новость до Тоби. Он — младший, избалованный и крайне ранним ребенок.

Мама впервые попала в сумасшедший дом сразу после его рождения. У нее была тяжелая послеродовая депрессия, и она почти на полгода исчезла из нашей жизни. Нам запрещалось навещать ее в клинике, так ей было худо. Вначале, чтобы помочь с младенцем, к нам приехала мамина сестра, набожная старая дева из Висконсина, но отец не смог долго терпеть ее в нашем доме. Они постоянно ругались. Все кончилось тем, что он назвал ее «шиксой» и выставил за дверь. Он сказал мне забыть это слово и никогда не употреблять в отношении женщины, но я, конечно же, послушался — и в первый и единственный раз оказался в кабинете директора.

Вернувшись из больницы, мама вцепилась в Тоби со всей страстью — стремилась наверстать упущенное за время своего отсутствия. Она исполняла его малейшую прихоть, чем неслабо действовала на нервы отцу. Он говаривал, что из-за ее вседозволенности Тоби вырастет «девчонкой», но не вмешивался. Он придерживался консервативных взглядов и считал, что воспитание детей — удел супруги, когда муж должен всецело посвятить себя заработку и обеспечению семьи.

До самоубийства мамы мы были довольно близки с Тоби, но теперь между нами лежит непреодолимая пропасть. Мы почти не разговариваем. Я сопровождаю его на занятия и домой, а он плетется следом, словно маленькая, бессловесная тень. Лишь один раз за минувшие полгода он сам инициировал разговор. Он спросил меня, что на самом деле случилось с матерью, и, когда я не нашелся, как ответить ему, страшно вышел из себя. Он сказал, что я — «такая же глыба льда, как отец».

Его слова задели меня, но я не мог объяснить ему, каких огромных душевных сил мне стоит придерживаться привычки к сдержанности. Иногда мне тоже хочется выплеснуть накопившиеся обиду, гнев и отчаяние, разбить кулаки о стену или выкинуть другую сумасбродную глупость, но я не имею на то права. Единственная вольность — приходить в опустевший зал, где стоит большой черный рояль, мамин любимец, и сидеть перед ним, уставившись в пространство, вспоминая, как над клавишами порхали ее изящные пальцы.

Я нахожу Тоби здесь. Я знаю, что он тоже так делает, но, заметив его небольшую фигурку, очерченную светом из огромных окон, я всегда ухожу, позволяя ему побыть наедине с собой и своей скорбью. В этот раз я остаюсь.

В зале темно, и солнечные лучи с улицы образуют на полу геометрический узор. В открытую створку доносятся запахи цветения. Если в нашем доме жизнь остановилась, то снаружи царствует май во всем своем великолепии.

— Как ты, малыш?

Он вздрагивает и смотрит на меня взглядом загнанного зверька из-под темных кудрявых волос. Я жду, что он возмутится из-за обращения, старого, детского, глупого, но он этого не делает. Просто смотрит.

— Я обязательно пересдам тест по истории, — робко говорит он. — Правда-правда.

Словно я пришел, чтобы устроить ему выволочку из-за оценок. Мне не хочется его терроризировать, но еще до того, как мама бросила нас на произвол судьбы, она не сильно-то этим интересовалась и подходила с вопиющей халатностью. Тоби смысленный мальчишка, но неусидчивый и рассеянный, из-за чего был вынужден брать повтор курса и оставаться на второй год. Это подстегнуло меня взять дело в свои руки. Пусть с него ничего не спрашивают, но кто-то же должен проконтролировать, чтобы он получил хоть какое-то образование.

— Охотно верю, — примирительно говорю я, — но... дело не в этом. Есть разговор.

В глазах Тоби вспыхивает надежда, он весь подбирается. Я перестаю быть для него строгим надзирателем, я снова тот человек, который утешал его и выслушивал, особенно, когда мама уходила в себя. Мне хочется в это верить. Пусть он так и преисполнился, рассчитывая, что настало время поговорить о ней.

Он жаждет знать правду. Вероятно, он и злится на меня и отдаляется только потому, что я встал на сторону взрослых, утаивающих от него подробности, предав его доверие. Он ждет, что именно я, а не кто-то другой, расставит все по местам. Считает, что он уже не глупый ребенок и не нужно оберегать его от слов, что снова вывернут хрупкую душу наизнанку.

Тоби закрывает крышку клавиатуры и складывает руки на коленях. Он, кажется, даже дыхание задерживает в этот момент.

И всего на минуту мне думается, что я мог бы исполнить его желание. Разделить с ним боль и облегчить душу, а заодно залатать трещину между нами. Больше не было бы меня и его по отдельности перед лицом того, что на нас обрушилось. Были бы мы.

Я прикрываю глаза и произношу все это про себя:

Она не просто умерла, а покончила с собой. Тебе двенадцать и ты обязан знать, что такое самоубийство. Она не хотела жить. Не хотела нас. И это случилось не тогда, когда она сняла номер в отеле и, распахнув занавески, чтобы видеть огни ночного города, поднесла компактный кольт к виску, а намного, намного раньше. Ты был слишком мал, чтобы знать, но я слышал, как они ругались с отцом. Во время ссор она часто говорила ему, что все это — семья, дом,

удел буржуазной домохозяйки — вовсе не то, к чему она стремилась всю свою жизнь. Она мечтала стать пианисткой. Не оставляла эту мысль, когда появился я, но второй ребенок стал надгробным камнем на могиле ее юношеских устремлений. Она поняла, что слишком увязла, и обратного пути уже нет. В тот год она впервые попала в больницу. Через пять лет — ты, опять же, не помнишь — еще раз. У нее была целая коробка разноцветных пилюль, принимая которые, она становилась такой, какой ты ее запомнил, — нашей доброй, нежной и ласковой, но чуть печальной матерью. Но ее грызли сожаления, уничтожали умершие мечты, пока она не решила умереть вслед за ними.

Я могу ошибаться. Но у меня было целых полгода, чтобы собрать воедино все крупинки пазла — все их перепалки с отцом, все ее побывки в больнице, все ее фотографии с концертов в юности, все ее тоскливые взгляды и вечера за роялем, когда она не играла, а просто сидела, уставившись перед собой, и меланхолично гладила клавиши.

Но, знаешь, я чертовски зол на нее. Меня вырастили с мыслью, что мы не выбираем свой путь. Мне тоже многое не нравится в моей жизни, но кому-то пришлось куда хуже. Деду и отцу. Дед даже не закончил школу, отец воевал и... всегда делал, что должен. Почему и маме было не продолжать в том же духе? Просто быть тем, в ком мы нуждались.

Ты нуждался.

А я...

«Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».

Библия затерялась среди маминых лекарств в тумбочке и покрылась пылью. Я забрал ее к себе, но вовсе не для того, чтобы искать ответы или точку опоры среди рушащегося мира. Я ищу слова, что сказал бы маме, если бы у меня была возможность отговорить ее от последнего шага.

— Винс? — тихо зовет меня Тоби.

Мне не трудно принять это решение. Я и минуты не сомневаюсь.

— Отец женится снова, — сообщаю я. И его плечи опускаются, а взгляд гаснет. Он рассчитывал услышать другие слова. Он смешно морщит нос и пинает носком ботинка ножку рояля, словно во всем виноват инструмент, ставший мертвым хламом без своей хозяйки.

— А... — почти разочарованно тянет Тоби. — Это... Я знал.

— Неужели? — изумляюсь я.

— Ну, догадывался, — поправляет он себя. — Я видел его с какой-то женщиной. А еще он ходит такой счастливый, будто...

Он замолкает и качает головой. Любое продолжение этой мысли будет ужасным. Будто мама не умерла? Будто ее никогда не было? Признаться, их взаимоотношения с отцом всегда были довольно холодными. Я точно не могу припомнить, чтобы отец «ходил такой счастливый». Он всегда был сосредоточенным — и на работе, и дома. На каждом семейном ужине он придирчиво приглядывался к маме, готовясь вовремя распознать и предвосхитить наступление нового кризиса.

И проглядел. Да и вся наша жизнь, выходит, была для нее одним сплошным кризисом.

— И где ты видел его с женщиной? — зачем-то спрашиваю я.

— На улице, — отмахивается Тоби.

Это могла быть любая другая женщина, но я догадываюсь, что речь идет именно о Лоре. Мне тоже довелось пару раз замечать отца в компании какой-то особы недалеко от нашего дома, хотя официальное знакомство пока так и не состоялось. Отец будто стыдился этого, стыдился своего грядущего счастья, ставшего возможным только после того, как он овдовел.

— И что ты об этом думаешь? — интересуюсь я.

Тоби хмурит брови. Ничего, в сущности, он хорошего об этом не думает, легко догадаться. Его лицо всегда красноречиво выдавало эмоции, отражая бурную внутреннюю жизнь его пылкого нрава.

— Всем плевать, что я думаю, — с вызовом заявляет он.

— Мне не плевать, — заверяю я.

— Ой ли, — выплевывает он и идет в атаку, — а сам ты, что об этом думаешь, Винс? Дай угадаю: что так и должно быть, что все правильно. Пра-ви-ль-но! Мама только вчера умерла, а он...

— Он не может похоронить себя вместе с ней, — отзываюсь я. К чему-то такому я и пытался себя подготовить. Побывать для отца адвокатом.

— А тебе все равно! — напирает Тоби и вскакивает с места. — Вам с папой все равно. Все равно на маму, все равно на меня. Я скучаю по ней. Я ненавижу вас!

Эхо его громких признаний так и остается висеть в воздухе, когда он выбегает из зала. За окном поют птицы, а ветер тихо шелестит листвой в саду. Весна хочет ворваться сюда, но старые, плотные стены не позволят ей вдохнуть жизнь в дом, утопленный в скорби. Возможно, удастся той, что займет место мамы, но никогда не притронется к этому роялю. Она может стать женой отца, хозяйкой дома, но есть вещи, которые никогда не будут ей подвластны. Этот инструмент. И мой упрямый младший брат. Он возненавидел ее задолго до того, как она преступит порог, а заодно и нас с отцом, как соучастников предательства.

Но я не иду за ним, чтобы попытаться хоть что-то исправить. Как и отец, я ждал этого маленького концерта, ждал его взрывной реакции. Я знаю, что ему нужно время, чтобы уложить новости в своей голове, принять неизбежное. Он смирится. Все смирятся.

Я знаю, что так действительно будет лучше для всех.

Мое личное знакомство с Лорой происходит непосредственно в день их свадьбы и, по правде, оно выходит обескураживающим. До того я видел ее только издали, да и не приглядывался, потому мои представления сводились к ограниченному набору общих признаков — белая, невысокая брюнетка, примерно ровесница отца, одевается скромно.

Услышав от отца о том, что он женится, я рисовал в своем воображении другую женщину — какую-нибудь красотку со страниц глянцевого журнала, кинодиву или манекенщицу. Блондинку с белыми зубами. Молодую, глупую куклу, что работала на отцовской фабрике машинисткой и страстно схватилась за промелькнувший перед ней шанс обеспечить себе безбедное существование. Но не Лору.

Она красива, но предельно далека от образа пустоголовой куклы или хищной акулы, падкой до наживы. Пока мы обмениваемся любезностями на крыльце, они собираются уезжать, а я только вернулся с тренировки. Она держит себя вежливо, но отстраненно. Ее платье слишком обычное для свадьбы, будто они с отцом отправляются на деловой обед, а не на официальную регистрацию брака. Лора не выглядит ни восторженной, ни взволнованной. Она такая же сдержанная, как и он. Она разговаривает со мной с мягкой, но холодной улыбкой. У нее светлые глаза, в которых читаются ум и жизненный опыт.

Они с отцом садятся в машину, а у меня в груди разливается тепло. Я был прав, когда защищал отца перед Тоби. Его скорая женитьба — не следствие бурного всплеска чувств и какого-то там сумасшедшего романа, а обдуманное решение, как и все до того. Он нашел хорошую, достойную женщину, новую супругу, новую хозяйку дома. Лора похожа на человека, который способен обо всем основательно позаботиться. И она совершенно не производит впечатление человека, который однажды покончит с собой.

Я хочу в это верить.

В уважение к памяти матери решено обойтись без торжественной церемонии, как и без религиозного обряда. В этом нет смысла. Отец-еврей, хоть и далекий от веры, а Лора... быть может, тоже иудейка и заслужила бы куда больше одобрения деда, чем моя мать-католичка. Дед припоминал это отцу до самой смерти. Но теперь его благословение не играет особой роли, даже если я не ошибся в своих предположениях. Отец не рассказывал ничего о Лоре, ее жизненной позиции, взглядах и предпочтениях, да и я не сильно-то интересовался. Я все равно это узнаю, ведь отныне она часть нашей семьи.

Они уезжают из дома для бюрократических процедур, а вечер и ночь проведут в помпезных декорациях театра Фишера. Мы с Тоби, конечно, там будем лишними. Нам никто и не предлагал, да и мы точно не изъявили бы желания навязывать свою компанию.

Однако сегодня мне как никогда хочется поговорить с Тоби, достучаться до него, вытащить его из скорлупки и услышать, что он думает о мачехе. Они должны были пересечься — он давно дома, а она заезжала, чтобы перевезти кое-какие необходимые вещи. Я жду услышать от него если не покаяние и признание вины за ту некрасивую сцену, то хотя бы правду.

Но пока я слышу только звук, давно не раздававшийся в нашем доме, — тихое звучание клавиш рояля. Мне не мерещится призрак матери — от ее рук профессиональной пианистки всегда рождались только красивые, правильные и стройные мелодии. Кто-то другой притронулся к инструменту и возвратил его к жизни. Кто-то, кто понятия не имеет, как с ним управляться.

Я спешу в зал, чтобы узнать, кто посмел нарушить обет молчания. И вижу Тоби, а вместе с ним на стульчике примостилась какая-то неизвестная рыжая девчонка, его ровесница. Тоби что-то шепотом говорит ей, пригнувшись и указывая на клавиатуру. И улыбается. Хотя я уже очень давно не видел его улыбки, не видел его таким беззаботным и почти счастливым.

Сначала я думаю, что девочка — какая-нибудь его одноклассница, ведь Тоби двенадцать и это совершенно нормально, что он нет-нет, да начинает интересоваться противоположным полом. Но я понимаю, что ошибаюсь, припоминая кое-что, упущенное из внимания. И вместо того, чтобы уйти и не нарушать их идиллию, я испытываю острую потребность вмешаться.

Отец говорил мне, что у Лоры есть дочь, немногим младше Тоби, но я не придавал этому факту значения. По правде, мне было плевать, что в нашем доме и семье, помимо Лоры, появится какая-то «сестра». Но теперь багаж, идущий в довесок к мачехе, становится для меня неприятным открытием.

Девчонка и девчонка. Жила бы себе, занималась своими делами. Но ей вздумалось сидеть с моим братом за маминым роялем. И с ней Тоби сбросил свои щиты, открылся, расслабился, сделал то, чего не делал ни со мной, ни с отцом, хотя они знакомы без малого пару часов. Почему она удостоилась такой чести, как его доброе отношение и доверие? Настолько, что он привел ее сюда — не сомневаюсь — предложил сам, да еще и делится самым сокровенным.

Даже мы сами с опаской относились к роялю, ведь к нему не притрагивался никто, кроме матери. Она проводила за ним много часов, хотя с годами играла все реже, и все чаще предавалась ностальгии по временам, когда гастролировала по всей стране с концертами и амбициозно мечтала о мировой славе.

В этом рояле остался кусочек ее души, слишком сложной и непостижимой для нас. Этот рояль не предназначается для пришлой девчонки, чужой в нашем доме.

Она не имеет и малейшего отношения к матери и ее памяти.

Тоби ловит мой гневный взгляд и подбирается. Улыбка сходит с его лица — и за эту улыбку я уже готов порвать навязанную нам сестру на мелкие кусочки.

Он словно забыл о нашей утрате. Забыл о том, что значит для нас этот инструмент. Это не игрушка. Не достопримечательность, чтобы показывать ее чужакам. Это — саркофаг, где дремлет тень нашей матери.

Но я не забыл.

— Ты сделал уроки? — сухо спрашиваю я, заметив школьный рюкзак, валяющийся у ножек рояля. Тоби так торопился продемонстрировать своей новой сестре инструмент, что не удосужился отнести рюкзак в комнату.

— Папа сказал, что сегодня мы... — тихо начинает Тоби, но умолкает. Он поворачивается к девчонке, словно ища у нее поддержки, и шепчет, но достаточно громко, чтобы я услышал: «Не волнуйся, это Винсент, мой старший брат, он очень строгий».

Вовсе нет.

И я задыхаюсь от обиды, расценив его слова за вопиющую неблагодарность.

С момента, как Тоби появился на свет, с его первых шагов, первых слов, я заботился о нем, пока родители были заняты своими делами: отец — работой, а мама — своей черной меланхолией. Я знал, чувствовал, что с ней творится нечто неладное, а оттого всегда был готов присмотреть за братом вместо нее. Пару раз случались инциденты, ставшие тревожными звончками, вроде того, когда она забыла забрать Тоби из детского сада, а он ждал ее, обливаясь слезами, чувствуя себя брошенным.

Она с удовольствием забивала голову Тоби далекой от реальности чепухой, рассуждала о том, что неплохо бы отдать его в класс скрипки, но абсолютно не интересовалась, съел ли он завтрак или справляется ли с нагрузками в школе. Она любила повторять, что он — ее «маленький принц», но понятия не имела, в чем он нуждается на самом деле.

— Иди наверх, — говорю я уже мягче, — и сделай, пожалуйста, домашку. Я проверю.

Тоби шумно вздыхает и спрыгивает со стульчика у рояля, на котором они с девчонкой устроились, словно две маленьких птицы на узком карнизе здания. Понутив голову, как будто его кто-то накажет в случае непослушания, а его никто никогда не наказывал, брат подбирает рюкзак. Я перевожу взгляд на девицу. Она сидит, напряженная, как струна, и, кажется, боится лишний раз напоминать о себе.

— Как тебя зовут? — спрашиваю я.

Но она только таращит на меня огромные глаза, непропорционально большие для маленького, конопатого лица. Она вся максимально нескладная и совершенно не похожа на мать. Надо думать, она унаследовала внешность своего отца, а не Лоры. И эти ужасные рыжие волосы какого-то возмутительно-яркого оттенка, будто у нее на голове медная проволока.

Я повторяю свой вопрос, уже начиная выходить из себя. Я слишком долго держался.

По-хорошему, ни Лоры, ни этой пигалицы, посмевавшейся усесться за мамин любимый инструмент с моим братом, не должно быть в нашем доме. Еще каких-то полгода назад такое попросту не укладывалось в голове. У нас была семья, пусть и со всеми ее недостатками. А теперь нашу жизнь наводнили чужаки. И что-то подсказывает мне, что от мелкой рыжей бесчеловечности бед будет куда больше, чем от ее мамы.

— Язык проглотила? — вырывается у меня. И я бы добавил что-то еще, более обидное, если бы Тоби не подал голос:

— Винс, она... — запинаясь, говорит он, — не может разговаривать. Она немая.

— Дьявол, — ругаюсь я и, схватив брата за предплечье, спешу увести его на второй этаж и спрятаться от неловкости. Я не хочу думать о том, что будет делать эта бесполезная, еще и вдобавок немая девчонка, оставшись одна с маминым роялем.

Я вообще не хочу думать о ней.

И хоть у меня нет достаточного повода для ненависти, я, кажется, уже ненавижу ее.

Глава вторая.

Лотти.

1961 год. Детройт, Мичиган.

Мы никогда не говорили о моем отце. Никогда. Признаться, я воспринимала его отсутствие, как данность, и толком даже не задумывалась о том, кем он был. Любой другой ребенок на моем месте нет-нет, но стал бы строить предположения или задавать маме неудобные вопросы. У всех других — ладно, у большинства моих сверстников — отцы были. Или были причины, по которым их семьи оказались неполноценными.

С невероятной беззаботностью дети болтали о серьезных, временами страшных вещах. Например, у одного моего одноклассника отец погиб во время несчастного случая на предприятии, и, смакуя подробности, мальчишка пересказывал, как сильно того изуродовал взрыв какой-то там установки, сколько времени он провел в больнице и далее тому подобное. У другой одноклассницы родители развелись, и теперь отец жил в другом городе с молодой женой, бросив прежнюю семью. Их двоих — девочку и ее мать. Они были прямо как мы. Только вот нам с мамой никто больше и не был нужен, кроме друг друга.

Я не хотела знать, кем был тот человек, из-за которого маме приходится так много работать, а мне быть достаточно самостоятельной с малых ногтей. Мама не могла позволить себе забирать меня из школы, готовить ужины по вечерам или сэндвичи мне с собой на занятия. Я делала все это сама, на мне также лежали и другие обязанности по хозяйству. Я была послушной и терпеливой. Я старалась позаботиться о себе и о маме, раз больше некому. И плевать я хотела на того, кто не захотел сделать нашу жизнь хотя бы чуточку легче. Даже если он умер, а не просто ушел.

Я не спрашивала о нем.

Мама сама заводит об этом речь. И это, наверное, самый ужасный день в моей жизни. Как мне казалось тогда, ведь после... после ужасных дней становилось все больше. Их количество множилось в геометрической прогрессии.

Этот разговор стал началом конца.

Мама вернулась с работы раньше времени, и я, конечно, же, сразу забеспокоилась, ведь такое уже случалось. Как-то раз мама ушла с неплохой должности из-за домогательств начальника, а следующие месяцы для нас стали голодными и трудными. Но она была слишком гордой и смелой, чтобы терпеть подобные вещи даже ради выживания. Тогда она была рассержена, смятена, но улыбалась, довольная своей маленькой победой.

Сегодня на ней нет лица. Кожа посерела, под глазами залегли глубокие тени, густые волосы утратили свой блеск. Она выглядит ужасно усталой. И мне хочется спросить, плакала ли она, и что ее так сильно огорчило, но я терпеливо жду, прежде чем она сама начнет этот разговор.

Она хлопает по постели рядом с собой, приглашая.

Приготовленный мной скромный ужин остывает на столе. Она явно не хочет есть, а я так взволнована, что кусок в горло не лезет.

— Я планировала отложить этот разговор на потом, — тихо говорит она, — но... обстоятельства изменились.

Я киваю. И серьезность, с которой я смотрю на нее, вызывает у мамы умиление. Она улыбается уголками губ и заправляет прядь волос мне за ухо. Я чувствую, что ей так и хочется сказать что-то хорошее, доброе и ободряющее, чтобы поощрить меня, но она сама обозначила правила. Серьезный разговор. Неприятный разговор. Сантименты подождут.

— Тебе пора узнать немного... о своем отце, — заявляет мама, а я давлюсь рвущимся наружу протестом. Нет. Не пора. Я не хочу этого. Давай оставим все как есть. Она словно читает мои мысли. Добавляет: — А после я все тебе объясню. Для чего это нужно.

Я мотаю головой.

— Шарлотта, — в голосе мамы прорезается сталь. Ей не нравится быть со мной строгой. Я толком и не могу вспомнить, когда и при каких обстоятельствах до того она повышала на меня голос или проявляла жесткие черты характера. А мама может быть такой. Иначе бы мы не выжили. Лично я не даю ей повода. Я знаю, как ей тяжело, и не хочу стать еще одним неудобством — большим, чем я уже есть.

— Прости, — кое-как удается выдать мне.

Мама смягчается. В ее голубых глазах нет злости, только печаль. Она отводит взгляд и задумчиво разглаживает складки на покрывале. От нее пахнет дешевыми духами и типографскими чернилами, ведь последние несколько лет она работает именно там. Это запах дома. Запах спокойствия. Я втягиваю его в себя, чтобы успокоить бурю, зарождающуюся в душе.

Мама не сделает мне зла. Если она что-то решила, это для нашего же блага. Ее и моего. Я обязана это принять.

— Выслушай меня. — Она тянет меня к себе и устраивает головой на коленях. Ее пальцы, ловкие, натруженные руки машинистки, порхают над моими волосами, она перебирает пряди. Она тысячу раз говорила, как ей нравятся мои волосы — их безумный, вызывающий огненный цвет. Чаще всего она говорила это, когда я, стоя перед зеркалом, ожесточенно дергала их расческой, силясь вырвать с корнем. Я завидовала ее густым темно-каштановым волосам, шелковистым и плотным на ощупь. Моя грива пушится и без должного ухода торчит дыбом, делая меня похожей на пылающий факел. Это одна из тысячи причин, почему мне стоит не испытывать малейшей симпатии к своему отцу, кем бы он ни был, ведь я унаследовала ненавистную масть от него. Не от мамы. Она прекрасна, как благородная чайная роза в старинном саду. Она слишком прекрасна для той жалкой жизни, что мы ведем.

— Милая, представь, что я просто рассказываю тебе историю, — продолжает мама, и ее голос звучит напевом, словно я совсем малышка, а она читает мне сказку на ночь, — и не важно о ком она.

Я не обижаюсь из-за того, что она вдруг разговаривает со мной, словно я малое дитя. Да, весной мне будет только десять, но нам столько всего пришлось пережить, что можно было бы не прятаться за нагромождением из слов и метафор. Пусть так, если ей от этого легче. Я догадываюсь, что дело не во мне, а в ней самой. Ей больно вспоминать. Больно поднимать со дна своей храброй души этот корабль, затонувший много-много лет назад. Его борта облепили ракушки, мачты окутали водоросли, а в сундуках вместо золота остался лишь прах. Теперь он просто неподъемная ноша, которой лучше оставаться на дне, дремать в забвении и никогда не быть потревоженной.

Океан поглотил много некогда величественных кораблей. Мне почему-то всегда была интересна эта тема, и в обувной коробке под кроватью собрана целая коллекция газетных вырезок. «Мэри Роуз», «Эдинбург», «Титаник»... Их громкие имена навсегда погребены в тишине, а оставшись одна, я частенько перекаत्याю их на языке.

Герои маминой истории не вглядывались в туманную морскую даль, не пили шампанское на палубе в высоких перчатках с шестнадцатью пуговицами. Они жили здесь, в Детройте, там же, где и мы. И, вероятно, никогда в своей жизни даже не видели моря.

Она не видела.

— Жили-были юноша и девушка, — говорит она, следуя сказочной традиции повествования. — И они очень любили друг друга. Их любовь началась рано, когда они еще были совсем юны, но в то время подобные вещи были в порядке вещей. Все ждали, что после школы они поженятся, и это казалось правильным, само собой разумеющимся. Но...

Всегда есть какое-нибудь «но», — думаю я.

— Но шла война, — со вздохом произносит мама, — а этот юноша был очень хорошим человеком и не мог оставаться в стороне. Он захотел сделать что-то для своей страны, для многих других хороших людей. Он ушел на фронт, но обещал вернуться. Она ждала его. Долго и верно ждала. Он выполнил свое обещание и вернулся...

Я ворочаюсь на ее коленях, чтобы взглянуть наверх, на нее. Волосы сильно мешают обзору, и сквозь красную пелену я вижу мамино лицо. Ее голос дрогнул, но она по-прежнему спокойна. Взгляд задумчивый и отстраненный, будто она и правда говорит о каких-то чужих людях, а не о себе и том мужчине, которого любила. С этого ракурса я могу во всех подробностях разглядеть ее правильные черты, аккуратный нос и пухлые губы. Она и сейчас выглядит, как вчерашняя школьница, хотя старше матерей некоторых моих одноклассников и одноклассниц.

— Вернулся с молодой женой, — говорит она. — Эта жена была красивой, яркой и достойной. Потому девушка уступила, приняв его выбор. Она ушла, чтобы больше никогда не напоминать о себе и о прошлом. Но однажды он сам нашел ее. Ему было стыдно, что все так вышло, и он предложил ей помощь, чтобы хоть немного наладить ее жизнь. Она стала работать на него. Они поддерживали дружеское общение, но не настолько близкое. Он не стал бы знакомить ее со своей семьей — женой и ребенком. Но он был несчастен с той — другой женщиной. За красивым фасадом их жизни скрывалось что-то... Что-то неведомое той девушке. Он искал утешения на стороне, пока обо всем этом не прознала его жена. Она потребовала у мужа прекратить общение с первой любовью. Он послушался. Конечно, он послушался... я... она и сама понимала, что это неправильно. Она не хотела поступать, как плохой человек. Но ее возлюбленный оставил ей прощальный подарок. Ее дочь...

Мама вытирает одну-единственную слезинку, выступившую в уголке глаза, и трясет головой, смахивая тяжелые воспоминания. Я выбираюсь из ее рук и сажусь.

Ее история была сбивчивой, немного запутанной, но в целом я все поняла.

Единственное, что остается для меня большой загадкой, — почему она вдруг заговорила об этом, что заставило ее пережить свою личную драму снова. Вопрос в моем взгляде, должно быть, читается вполне отчетливо.

— Он еще кое-что сказал ей, прежде чем она ушла, — говорит мама. — Он поклялся, что если ей понадобится помощь, она всегда может прийти к нему. Она... уже не сильно верит в его клятвы, но...

— Но ей нужна помощь? — вырывается у меня.

Мы неотрывно смотрим друг на друга несколько мгновений, прежде чем мама резко вскакивает с места, чтобы дойти до комода и выдвинуть нижний ящик. Там, под аккуратно сложенными стопками с одеждой, находится письмо в простом белом конверте.

Мне страшно. Это письмо, даже не будучи распечатанным, производит эффект разорвавшейся бомбы. Оно и есть бомба. Бомба, которая все это время была здесь, рядом, пока мы жили себе размеренно и тихо, а я понятия не имела, что поблизости находится столь опасная вещь. Я забыла бы про покой и сон. Оно завладело бы всеми моими мыслями. Я бы целыми днями только и делала, что ломала голову, пытаясь предположить, что в нем. Ведь его написала мама.

Она показывает мне письмо и откладывает его на кровать. Берет мои маленькие руки в свои. То, как ее руки порхают над клавиатурой печатной машинки, — волшебство, которое я так люблю созерцать. Но сейчас я думаю лишь о том, какими узловатыми стали мамины суставы из-за утомительной, многочасовой работы, какой хрупкий и болезненный у нее вид.

— Если со мной что-то случится, — вкрадчиво начинает она, — на конверте есть адрес. Я хочу, чтобы ты отнесла его туда, отдала этому человеку. Он... он позаботится о тебе.

— Что может с тобой случиться? — плаксиво спрашиваю я.

Мама натягивает на лицо улыбку. Это движение лицевых мышц подобно закрытию заслонок на плотине — бурный поток под контролем, бетон и металл надежно удерживают его, не позволяя снести все на своем пути. Усталость исчезает. Передо мной снова сильная женщина. Самая сильная женщина из всех, кого я знаю. Я восхищаюсь ей.

— Ничего, малышка, — заверяет она. — Просто... на всякий случай.

Какой бы сильной она ни была, она не находит в себе храбрости сказать правду, глядя в глаза. Не бывает «всякого случая». Есть вот такой случай, когда она на грани отчаяния и готова идти на крайние меры.

Это письмо — крайняя мера.

Дальше все как-то худо-бедно налаживается, пусть над нами и висит занесенный меч какой-то неведомой беды. Я становлюсь просто-таки одержима идеей докопаться до правды о том, что происходит с мамой и как я могу ей помочь.

Затонувшие корабли, приключенческие романы, интересные радиопередачи — все забыто, пока я веду другое расследование. Это не какие-то там глупости, о которых можно поболтать с друзьями, а вопрос жизни и смерти. Я уверена, что где-то должен быть спрятан ответ — ключ к разгадке, в обход этого ужасного письма. Мама вернула его на прежнее место, но я не стала читать его, пренебрегая ее доверием.

Я не читаю его, обшаривая каждый уголок нашей крошечной квартирки в убогом кондоминиуме рядом с ткацкой фабрикой. Здесь так мало места, что негде спрятать улики, но я все же ищу их с невероятным упрямством. Ни малейшая трещинка в стене, отходящая половица или пространство между кухонными шкафчиками не остаются без моего внимания. Я готова даже вскрыть ножом матрас и подушки, но меня останавливает возможный гнев мамы за уничтожение нашего и без того скромного имущества. Так и представляю себе ее реакцию, когда, вернувшись с работы, она обнаружит меня среди вороха перьев.

Я не читаю его, проследив за мамой от дома до работы и обратно, умудрившись чудом избежать неприятностей в школе из-за прогула.

Я не читаю...

Я читаю его.

И оно разбивает мне сердце.

Я замираю, парализованная ужасом, посреди кухонного островка, рядом с кипящим чайником, над паром которого я смогла незаметно вскрыть конверт. Конверт кружится в воздухе и падает к моим босым ступням осенним листком, но я не нагибаюсь, чтобы поднять его. Я не могу пошевелиться. Тело ощущается чужим и далеким. Я выскочила из него. Мою душу выдернули за шкуру, встряхнули и прицепили прищепкой к бельевой веревке во дворе. Она сейчас далеко и не знает, как вернуться обратно. Я хочу обратно. В то мгновение, когда мои глаза пробежались по первым строчкам, и я еще могла остановиться.

«Дорогой Сеймур.

Я не хотела, чтобы до этого дошло, и, честно говоря, моя гордость не позволила бы обратиться к тебе за помощью, но есть вещи важнее гордости.

Она важнее гордости.

Я не говорила тебе о ней, потому что знала, какие у этого будут последствия. Если ты читаешь это, значит, она пришла к тебе. Эта девочка — твоя дочь. Мы прекрасно справлялись сами, чтобы не бросать тень на твое семейное счастье. Счастье так хрупко, а ты не обязан расплачиваться за былые ошибки. Ни ты, ни они.

Но у меня нет другого выхода. Мое состояние ухудшилось, и прогнозы врачей пока не внушают надежды, а я сомневаюсь, что смогу позволить себе консультацию у других специалистов. Я решила предвосхитить события и написать это письмо.

Ты дал мне обещание... одно из, но не будем об этом.

Пожалуйста, позаботься о ней, если меня не станет. Что бы там ни было между мной, тобой и ей, наша дочь невиновата ни в чем из того, что произошло.

Она...»

Я беспокоилась, как бы не испортить конверт, но мои скрючившиеся от нервного спазма пальцы бессовестно комкают бумагу. Я вздрагиваю, осознав, что натворила, и, разложив письмо на кухонной столешнице, принимаюсь неистово давить ладонью на смятые гармошкой углы. Конверт все еще невредим... Мама ничего не заметит. Нужно только аккуратно положить послание, заклеить и спрятать его обратно в комод.

Но я не могу аккуратно положить, заклеить и спрятать обратно свой ужас и потрясение. Я сажусь на пол прямо рядом с комодом и, раскачиваясь из стороны в сторону, натягиваю волосы у корней. Меня совершенно не радует успешный исход моего маленького расследования.

Значит, мама больна... И, конечно, перетряхивая и досматривая наши вещи, я не наткнулась бы на больничные счета или заключения. Она аккуратна. Она не хотела, чтобы я узнала раньше времени. Раньше, чем...

Нет.

Я не позволю ей умереть.

У того, что я, по большей части, предоставлена сама себе, масса преимуществ. Я спокойно могу передвигаться от дома до школы и обратно, да и, в принципе, куда хочу под предлогом, например, хозяйственных поручений. Продавец в бакалейной лавке давно ко мне привык и толком не спрашивает, что мне нужно, прекрасно осведомленный о наших с мамой предпочтениях, как и другие, к кому мне приходилось ходить с каким-нибудь поручением. Деловитую рыжую девчонку в окрестностях хорошо знают все.

Но прежде я никогда не была так далеко от дома. Весь мой мир так или иначе был собран в одной точке. Так что неудивительно, что, проделав долгий путь в общественном транспорте, я чуть не прозевала свою остановку, засмотревшись на красивые особняки в респектабельном пригороде. Утопающие в густой, позолоченной осенью растительности, они производили впечатление настоящих сказочных дворцов. А люди! Я просто не могла не пялиться на них, красивых, разряженных, статных, не то что простые работяги в нашем промышленном районе.

Я приезжала туда не единожды, но так и не осмелилась войти в дом. Подобное вторжение было бы слишком грубым. Я боялась, что меня вышвырнут оттуда за шкуру, как какую-то нищенку, или, чего доброго, отведут в полицию или позвонят маме. Моя операция была крайне секретной. Для начала я просто наблюдала.

Но отец, если мама не ошиблась с адресом, и это был действительно он, практически не расхаживал по улице, как другие жители района. Потому не было возможности подкараулить его утром, но вечером, когда я нервно поглядывала на старенькие наручные часы, чтобы не пропустить момент возвращения домой до прихода мамы, сразу же выходил из машины и спешил к крыльцу своего особняка.

Однако в моей ясной голове тут же созрел альтернативный план действий. Если я не могу поговорить с отцом, я попробую подобраться к его супруге, той самой женщине, из-за которой

мы и вели такую печальную жизнь. Она куда чаще показывалась рядом с домом и, как я успела заметить, периодически отправлялась в неизвестном направлении в гордом одиночестве.

Я должна была ее ненавидеть, ведь это она отняла у мамы ее любовь, ее семью и ее будущее. Красивая, но холодная, словно средневековая королева, она всегда несла себя с особой статью, отчего мое детское воображение тут же наделило ее чертами злой колдуньи из сказки, с помощью магии очаровавшей бедного принца. Но во мне не было ненависти. Я верила, что ее сердце вовсе не так жестоко, как бывает во всех этих легендах, и она способна на щедрость и сострадание.

Она сможет все исправить. Не все, но хоть что-то. Мы с мамой вовсе не претендовали на то, что принадлежит ей, каким бы путем она этого ни добилась. Нам не нужен был ее муж, ее красивый дом и благополучная жизнь. Просто жизнь — прежняя, где были мы с мамой, только мы вдвоем.

К тому же, как заключила я, эта женщина весьма религиозна. Проследив за ней, я вычислила, куда она ездит в одиночестве, — в величественный собор Святого Таинства на Вудверд авеню. Независимо от того, служилась ли там месса или нет, супруга отца приходила туда, садилась поодаль ото всех остальных прихожан и часами сидела, низко опустив голову. Корона из темных, блестящих волос скрывала ее лицо, отчего становилось невозможным разобрать, молиться она или просто погружается глубоко в себя, отрешившись от всего остального мира.

И я подумала, что это место — самое подходящее, чтобы попросить о помощи. Если она ревностная католичка и следует христианским заповедям, то не посмеет отказать мне в доме своего Бога. Мы-то с мамой были предельно далеки от религии, но изредка, по праздникам, посещали методистскую церковь недалеко от дома, куда ходили некоторые наши соседи и знакомые.

Стоило женщине подняться с места, я соскользнула с лавочки, где сидела, любуясь причудливым интерьером, огромными окнами и высокими сводами, и помчалась за ней. Я не могла позволить ей уйти. Мамино письмо было спрятано в карман моей курточки, но я не хотела прибегать к нему без крайней необходимости. Я собиралась просто поговорить.

— Миссис Коэн? — Я догоняю женщину уже на ступеньках и не решаюсь удержать за руку. Вдруг такой обеспеченной особе из высшего общества будет неприятно прикосновение какой-то девчонки. Мы с мамой живем скромно, но не какие-то нищенки. И все же — моя одежда дешевая и простая, что сразу же бросается в глаза.

Женщина останавливается и оборачивается ко мне. В ее взгляде искреннее недоумение. Она меня не знает. Мы никогда не встречались.

— Можно... — робко лепечу я. — Можно поговорить с вами, мэм?

Прежде я не видела ее так близко, и сейчас она уже не кажется мне высокомерной. Ее глаза теплые и слегка встревоженные. Она, наверное, думает, что со мной приключилась какая-то беда. Она не спешит меня прогнать, как жалкую побирушку из тех, что частенько ошиваются возле храмов разных конфессий. Вместо этого она кивает, приглашая следовать за собой, и ведет меня к небольшому скверу за церковью.

— Кто вы, юная леди, и что я могу для вас сделать? — вежливо интересуется миссис Коэн.

И моя жалкая душа, все это время болтавшаяся на ветру на той бельевой веревке, вырывается с привязи и летит ко мне, с силой вонзается в тело. Я почти физически ощущаю боль в грудной клетке, когда она занимает свое прежнее место. У меня дрожат губы, дрожат руки, дрожат колени, дрожит все. Я сама становлюсь листком на ветру, скомканным письмом, которое ощущают подрагивающие кончики пальцев, засунутые глубоко в карманы.

Каким-то неведомым образом она понимает, что со мной творится. Оглаживает меня по плечам без тени брезгливости.

— Ну... тише-тише, — ласково говорит эта женщина. — Все будет хорошо, маленькая. Я тебе помогу, знала бы еще чем. Я Патриция. Как тебя зовут? Где твои родители? Что случилось?

Мне стоило бы развернуться и убежать. По-хорошему, мне вообще не стоило бы сюда приходить. Мне нельзя было с ней встречаться, нельзя было никогда с ней разговаривать. Куда лучше, если бы она была злой и надменной. Но ее глаза такие чистые, такие грустные и добрые, что я уже не могу сдать назад. Ее глаза требуют, чтобы я говорила, чтобы я сказала все. В эту минуту я верю, что она поможет. Только она может помочь.

— Моя мама умирает! — кричу я, перепугав птиц на ближайшем голом кусте. — Она... она... она очень больна, но у нас нет денег на лечение... моя мама... она... пожалуйста, помогите ей, пусть он поможет... пожалуйста, не дайте ей умереть... У меня никого нет кроме нее. Я...

И она обнимает меня, а я плачу, уткнувшись лицом в нежный шелк платья на ее груди. Меня обволакивает аромат ее духов и кожи так близко, мягкий и теплый, слишком мягкий и теплый для холодной, безжалостной стервы, что отняла у моей мамы все.

— Как зовут твою маму? — спрашивает она.

— Лора.

Проходит не так много времени, прежде чем бомба, спрятанная в комод, успевшая побывать и в моих руках, и в кармане моего пальто, взрывается. Я представляю себе, как стальные осколки и болты вбиваются в потолок, стучат по полу и рикошетят от стен, но от этого не легче. Я виню себя — не за то, что встречалась с той женщиной, Патрицией, а за то, что даже не попыталась обезвредить детонатор, как это делают в фильмах, вместо того, чтобы терпеливо ждать конца.

Но я знала, что это произойдет. Я чувствовала, что у моего поступка будут последствия и вопросом было лишь, когда они явят себя и какой у них будет масштаб. Я толком и не надеялась, что пронесет. Я надеялась, что все будет не так плохо.

А все очень плохо. Потому что, вернувшись с работы, мама не приветствует меня, как обычно. Она игнорирует ужин, не замечает мое присутствие. Она очень зла, и от ее гнева, кажется, колышется воздух. Она закуривает от газовой конфорки и долго стоит, глядя в окно, прежде чем пойти к комоду, выудить из тайника письмо и придать его огню. Она не проверяет, читала ли я его. Она знает, что читала.

В комнате пахнет горелой бумагой. Я смотрю, как огонь пожирает остатки письма в небольшой раковине, не решаясь приблизиться к маме. Она сама подходит ко мне.

И впервые в жизни бьет по лицу.

От пощечины звенит в ушах. Я испуганно потираю щеку, готовясь к новому удару, но она тут же раскаивается за свой поступок. Я чувствую нарастающее в ней желание извиниться, приласкать или утешить меня, но в то же время догадываюсь, что она силой воли подавляет его в зачатке. Ее лицо холодное и чужое, а глаза метают молнии. Их цвет сейчас похож на цвет океана, поглотившего немало кораблей. Моему хилому суденышку суждено занять место среди них, только без всяких почестей.

— Зачем ты это сделала? — спрашивает мама так тихо, что я едва могу разобрать слова.

А есть ли смысл переспрашивать, что именно, и прикидываться дурочкой? — мелькает у меня в мозгу. Я смущенно опускаю взгляд.

— Я... — бормочу я, словно разговаривая с полом и своей обувью, а не с мамой, — я... я хотела тебе помочь, хотела, чтобы тебе помогли...

Мама нервно смеется. Она отходит к раковине, подбирает догоревшую без ее внимания сигарету и, чертыхнувшись, комкает ее в пальцах. Как правило, она не ругается, хотя знает много емких словечек. Она вымещает злость на окурке, но он слишком мал, чтобы принять всю ее ярость и ответить за мои прегрешения.

Она широким, порывистым шагом идет в прихожую, возвращается со своей сумкой и швыряет мне в руки какую-то бумагу. Я мало что в этом понимаю, но судя по цифрам, подписи и названию банка внизу — это чек. У нас их отродясь не водилось. Тем более с такими огромными денежными значениями.

— Можешь собой гордиться, — заявляет она, ничуть не гордая моим поступком. — Ты своего добила.

— Но это же... хорошо? — неуверенно предполагаю я.

Я в курсе, что мама очень гордая женщина, как унизительно для нее принимать чужие побрякки, но она могла бы немного снизить степень своего возмущения, сделав скидку на то, что я спасла ее жизнь. Эта Патриция Коэн спасла ее жизнь, надо думать, вдохновившись встречей со мной. Я искренне недоумеваю, как мама может ставить чувство собственного достоинства выше желания жить.

Ведь теперь... теперь все будет, как прежде. Мы помиримся. Она простит меня. Мы будем жить дальше. Мама будет жить дальше.

Но ей так не кажется. Она отступает, выдвигает ногой из-под стола стульчик и тяжело опускается на него. Ее пальцы зарываются в волосы и ерошат всегда аккуратную укладку. Она смотрит на меня из-под растрепанных прядей.

— Не стоило тебе... с ней говорить.

Она напряжена, как струна, как тетива лука со взведенной стрелой, но ее крепкое естество все же дает слабину. Слезинки одна за другой сбегая по ее лицу и падают на блузку, оставляя темные пятнышки.

— Но... — защищаюсь я, — если бы я не поговорила с ней, то они бы не дали денег... и теперь...

Мама обрывает меня взмахом руки. Она не собирается слушать мои оправдания.

Она качает головой.

— Она покончила с собой, — говорит мама, и мне не нужно уточнять кто.

Женщина, с которой я говорила. Женщина, которую я просила о помощи. Женщина, которая и понятия не имела, что роман ее супруга на стороне имел плоды, — и этим плодом, сорняком, побегом омелы была я, пока ядовитое растение не явилось прямиком к ней, чтобы отравить. Своими словами. Своими просьбами. Своими мольбами.

Вот тогда я и решаю, что больше никогда не буду ни с кем говорить.

Мой обет.

Я буду хранить молчание до конца своих дней.

Глава третья.

Винс.

1964 год. Детройт, Мичиган.

Оливковый «Форд Фалькон» перекочевал ко мне сразу же, как только я стал достаточно взрослым, чтобы сесть за руль, и отец взял себе другой автомобиль. Он, конечно, заглядывался в сторону на шумевшего «Форда Мустанг», но рассудил, что такая вызывающая тачка годится для молодежи, а ему, человеку семейному, солидному, больше подходит «Кадиллак Девиль». Несмотря на футуристические «крылья» и плавные линии, он приземистый и массивный, он словно тянет отца к земле, подчеркивая, как крепко он стоит на ногах в любых обстоятельствах.

Здесь все, так или иначе, помешаны на машинах, и нет ничего удивительного в том, что отец, как и другие мужчины его возраста и статуса, меняет их довольно часто. Мне это только на руку. Наличие тачки сразу добавляет тысячу очков в глазах девчонок. Не «мустанг», конечно, но и «фалькон» вполне устраивает мою одноклассницу Кристи.

Ее семья тоже работает на автомобильную промышленность, но мелкими клерками, и они не так богаты, чтобы позволить дочери обзавестись собственным транспортом. Кристи не прочь, если кто-то ее покатает, отвезет на природу, в закусочную пропустить коктейль, в драйвин-кинотеатр или трахнет на заднем сидении по пути или в любом из этих мест.

Так что мне повезло.

Она одергивает юбку и подтягивает сползшие гетры, пока я курю и кручу колесико радиоприемника, выискивая волну, где будут играть музыку, а не транслировать последние новости. Я не хочу слушать про войну, уличные протесты или подобную несусветную чушь. И я не собираюсь обсуждать все это с Кристи, особенно после быстрого, но хорошего секса.

К несчастью, нам особенно не о чем говорить. Все темы, касающиеся школы, обсуждены уже по сотне раз, а увлечений у Кристи не так уж и много.

Наконец сквозь трескотню помех пробивается знакомый мотив «I Want to Hold Your Hand», и хотя в последнее время я слышу ее так часто, что она уже начинает порядочно раздражать, это все же лучше, чем политика или погода. Кристи улыбается, подхватывает строчку одними губами, но тут же замолкает, смутившись.

Она поправляет прическу.

Она не планирует идти в колледж и куда больше заинтересована в том, чтобы найти подходящего мужа. Слишком скользкая тема. Я могу предложить ей только интрижку в этой машине, но не себя в более долгосрочное пользование. Я рассчитываю убраться отсюда подальше сразу после выпускного и вкладываю достаточно сил в учебу и занятия спортом, чтобы это стало возможным. Консультант по вопросам дальнейшего образования говорит, что у меня есть все шансы получить стипендию в каком-нибудь приличном колледже на восточном побережье. Или на западном, если захочу сбежать подальше от дома.

А сейчас я хочу убраться подальше от Кристи, пока она не завела речь о будущем, которого у нас нет. И у меня есть отличный предлог.

— Пора ехать, — напоминаю я. — У брата скоро закончатся занятия, и мне нужно отвезти его домой.

— А сам он не доберется? — принимается канючить Кристи. — Он уже не маленький.

Она требовательно смотрит на меня, намекая, чтобы я и ее угостил сигаретой. Она хочет сигарету. Она хочет на танцы и еще куда-нибудь прокатиться. Она хочет меня.

Кристи не понимает, почему я так ношусь с братом, почему не позволю ему добираться домой на автобусе или велосипеде, как все остальные мальчишки, его ровесники. Тоби все прошлое лето болтался на нем по округе, возвращаясь грязным и со сбитыми коленками, но

после ноябрьских событий мы с отцом решили ограничить свободу его передвижений. В мире творится черт-те что.

И это — еще мягко сказано. Детройт переживает свои не самые лучшие времена — его наводнили толпы сомнительных личностей, когда-то ринувшихся сюда в поисках лучшей жизни. Сейчас, когда многие предприятия закрываются или вывозят свои производства в другие места, прежде дешевая рабочая сила обратилась в чуму. Наш некогда благополучный район пустеет на глазах — люди уезжают, а роскошные дома мрачно смотрят на округу темными окнами.

Тоби этого не замечает.

За нашими запретами последовала очередная порция воплей и категоричных высказываний в духе «я вас ненавижу» и etc. Мы с отцом ужасные, бездушные, злые деспоты. Лора, принявшая нашу сторону, тоже конченная тварь, Тоби ее и без того на дух не переносит. Хорошая только... Нет, не хочу даже думать о ней. Не хорошая.

Святая, черт возьми.

— Это же Тоби, — авторитетно заявляю я, но Кристи мой аргумент совсем не впечатляет. Она курит и смотрит на меня сквозь дым, изогнув тонкую бровь.

— Ему тринадцать, а не пять, — напоминает она. — Готова поспорить, что он только прикидывается милым мальчиком, а сам дергает свой стручок ночи напролет... — Мой сердитый взгляд не заставляет ее заткнуться, а наоборот вдохновляет молоть языком и дальше. Она облизывает кончик сигареты и чуть прикрывает глаза, будто мечтательно. — И я даже знаю, о ком он думает, — говорит Кристи.

— Да ну?

Есть много вариантов. За один из них я точно выкинул бы ее из машины, наплевав на то, что стараюсь быть воспитанным человеком и не проявлять агрессию даже к тем людям, которые меня неимоверно бесят. Иногда это сложно, как сейчас. Но главное испытание на прочность, конечно, ждет меня впереди.

Давай, — мысленно подначиваю я ее. Кристи ведь уже заводила об этом речь. Но она чувствует мое раздражение и сдает позиции.

— О какой-нибудь телке из комиксов с большими буферами, — увиливает она.

Нет, она собиралась сказать не это. Но не сказала. Спасибо ей. Мы еще какое-то время позависаем вместе. Не могу назвать нас друзьями или парнем и девушкой. Просто проводим вместе время со всеми вытекающими. Кристи, вероятно, так не думает. У девчонок в ее возрасте голова забита романтической чепухой, да и им в целом нужно навешивать на все ярлыки. Мне это не нужно. Я толком и не знаю, что мне нужно.

Но она красивая, чуть ли не самая красивая девчонка в школе. И хорошо трахается. Вот и ответ.

Кристи сдувается. Хмуро молчит всю дорогу. Она решается заговорить, лишь когда мы паркуемся возле школы, а напряженное молчание становится невыносимым.

Она замечает Тобиаса. И с ним, конечно, его бессловесная тень — наша чертова приемная сестра. Я не знаю, что раздражает меня больше, — что они учатся с ней в одной школе, или что он везде таскает ее за собой по пятам, словно используя ее, как живой щит, чтобы отгородиться от меня. Девчонка уже год стоит между нами. Не будь она такой жалкой, а вдобавок еще и немой, я бы давно поставил ее на место, но не хочется марать руки.

Она бесит меня куда больше, чем все глупые намеки Кристи.

— Ну, — резюмирует она, наблюдая за ними, — это мило, что ты заботаешься о своих младших брате и сестре.

— Я забочусь о своем брате, — спорю я, — а она мне не сестра. Так...

Я не нахожу подходящего выражения, не слишком резкого, но достаточно емкого, чтобы передать то, что я думаю об этой мелкой рыжей твари.

Кристи смотрит на меня с осуждением. Или я как-то неправильно понимаю значение ее взгляда из-под нахмуренных бровей и странную, легкую улыбку на губах. Кажется, она все-таки скажет то, что разрушит любые отношения между нами.

— Ты бы... ну... постарался, что ли, — назидательно говорит она, — ради Тоби.

— Я стараюсь.

— Он ее любит, — продолжает Кристи, и, господи боже, я даже думать не хочу, какой смысл она вкладывает в это слово. И все же представляю. И ни один из вероятных ответов мне не нравится. Все они ужасны. Кристи ужасна, что выдает такое. Зачем я вообще с ней вожусь? Не с какой-нибудь другой нормальной девчонкой, что раскрывала бы пасть пореже. Наверное, с этим пора заканчивать.

— Прекрати, — прошу я. Я говорю это и себе: прекрати вестись на ее провокации. Ей же просто нравится вытягивать тебе нервы. Она почуяла слабинку и вцепилась, как бойцовая собака. Есть такие люди, которых хлебом не корми, дай ужалить в больное место.

— Ладно, — с подозрительной легкостью сдается она. Моя попытка закончена.

Она целует меня на прощание и уходит, довольная достигнутым результатом. Быть может, она понимает, что наши отношения для меня — временный этап, и по-своему мстит. Кристи, надо думать, обидно. Ей прекрасно известно, кто мой отец и какая безбедная жизнь ждала бы ее, стань она частью нашей семьи. Только ее никто в этой семье не ждет.

Мне хватает паразитов и без нее.

Тоби услужливо придерживает перед сестрой дверцу машины и дожидается, пока она забьется в угол заднего сидения — там, где я не смогу видеть ее в зеркале заднего вида. Она в курсе, что ей лучше не мозолить мне глаза. И хоть я никогда не поднимал на нее руку, не повышал голос и не позволял себе лишнего, она предпочитает не нарываться на неприятности. Только однажды мне не удалось совладать с собой и, застукав ее за роялем, я так резко захлопнул крышку, что мелкая дрянь чуть не осталась без пальцев.

Ей хватило урока, чтобы впредь держаться от маминого инструмента подальше.

А вот Тоби, в отличие от меня, обращается с ней очень ласково. Если я зову ее не иначе, как рыжей тварью, мерзкой девчонкой или просто «эй, ты», для него она просто Лотти. Его названная сестра и единственный друг. Он даже стал изучать язык жестов, чтобы избавить ее от необходимости писать все, что она хочет сказать, в своем дурацком блокноте. Они общаются между собой на жестовом языке — и никто не знает, о чем они говорят друг другу. У них свои тайны.

У нас с Тоби больше нет своих тайн.

Она отняла у меня собственного брата.

— Ты опять возил свою противную подружку к заливу? — уличает меня Тоби. Ему, в свою очередь, не нравится Кристи, но из него клещами не вытянешь почему. — А когда ты отвезешь туда нас?

— Когда рак на горе свистнет, — бросаю я и, чтобы хоть немного унять гнев, вставляю в рот еще одну сигарету. Тоби морщится от дыма, ползущего по салону, и демонстративно опускает стекло в окне рядом с собой. Рыжая не следует его примеру, остерегаясь давать мне хоть крошечный повод вызвериться. Она делает вид, что ее тут нет.

В лучшие моменты я воспринимаю ее скорее, как предмет мебели или глупое домашнее животное, неспособное поддержать диалог в силу своей немоты. Но сейчас одно только ее присутствие давит мне на мозги.

Я отвез бы Тоби к заливу, да и куда угодно, но только без прилипшего к нему куска веснушчатого дерьма. Впрочем, мы могли бы взять ее с собой, но только с одной целью — скинуть в воды озера Сен-Клер, чтобы она утонула и больше никогда не смела садиться на заднее сидение моей машины.

— Я скажу отцу, что ты куришь, — заявляет Тоби. Я без понятия, зачем он это говорит, зачем меня подначивает.

— Да ему насрать, — откликаюсь я.

Я сдвигаю зеркало в сторону, чтобы взглянуть на рыжую, и вдруг ловлю ее осторожный взгляд. По ее темным глазам невозможно хоть что-то понять. Это длится мгновение. Она тут же отворачивается, и копна огненных волос скрывает ее лицо. Она делает вид, что ее куда больше интересует что-то снаружи автомобиля.

— Испортишь здоровье, придется попрощаться со спортивной стипендией, — не унимается Тоби. А то я без него не знаю! Нормативы по бегу и правда стали даваться мне сложнее, с тех пор, как я приобрел дурную привычку. Но мне нужно хоть что-то, чтобы не быть слишком уж правильным среди неправильного мира.

— Что ты пристал? — прямо спрашиваю я.

— Отвези нас к заливу, — требует Тоби, — и я не скажу отцу.

Я закидываю руку на спинку сидения, и обивка скрипит — кожа передает привет — и тарашусь на него. Тоби в своем репертуаре, в своем амплуа капризного принца. Это мама сделала его таким — он не привык слышать «нет».

Он до сих пор страшно зол на нас с отцом из-за велосипеда и по-своему отыгрывается за этот запрет. Он и слышать ничего не желает о том, что в городе настали темные времена, и мы урезали его свободу не просто так, не потому, что мы такие авторитарные диктаторы, как ему кажется, не монстры. Кроме того, что Тоби весь такой нежный и чувствительный, он еще и упрямый, как маленький осёл. Ему очень важно стоять на своем.

Я прикидываю в уме все «за» и «против».

Сегодня редкий день, когда у меня нет тренировки или каких-нибудь дополнительных занятий. В конце-концов совместная поездка могла бы стать крошечным шагом к сближению. Весь минувший год я искал способ подобраться к брату, а он строил стены до небес. Он сам дал мне крошечную лазейку.

Плывать, что с нами будет это рыжее чучело.

— Окей, — сдаюсь я.

Мы едем к озеру втроем, по пути берем какой-то еды: молочных коктейлей и свежие номера комиксов в газетном киоске. У Тоби их уже внушительная коллекция, но ему все мало. Теперь ему нужно еще больше, чтобы обеспечивать и себя, и сестру, хотя ей это, кажется, не очень интересно. Я не имею представления, что ей интересно. Но она не выглядит сильно вдохновленной, пока Тоби сбивчиво пересказывает ей, что там в последнем выпуске приключилось с Суперменом, или чем закончился очередной эпизод «Сумеречной зоны» по телику. Вероятно, ей нравится его слушать, просто эмоциональный диапазон у нее, как у табуретки, и она не способна выдать хоть какую-то внятную реакцию в ответ. Ну... типа есть всякие дети с задержками развития, быть может, она одна из них.

Она немая. Бесплезная. Тихая. И никому неизвестно, что творится в ее голове.

Не исключаю, по правде, что она ненавидит нас. Нас с Тобиасом, хотя бы только за то, что мы никогда ни в чем не нуждались, а она выросла в атмосфере, близкой к нищете. До того, как Лора вышла за отца, жили они более, чем скромно. Никаких комиксов, радиоприемника и телевизора у них не было. Никто не возил их к Сент-Клер, погулять в центр, в Чикаго или куда-то еще.

Тоби лезет купаться — он обожает это дело, а мы с сестрицей остаемся на берегу. Я украдкой поглядываю на нее, сидящую на безопасном расстоянии, и мысленно подвожу итог: прошел почти год.

Год, как они с Лорой появились в нашей жизни, и многое изменилось.

Лора почти сразу же загремела в больницу, и я, признаться, грешным делом подумал, что у нее, как и у мамы, определенные проблемы с головой. Типа отец во многих смыслах нашел маме замену — они и внешне чем-то похожи, и имеют схожий душевный склад. Схожие патологии.

Это повторялось несколько раз. Наша экономка, Мод, говорит, что причина в том, что Лора с отцом хотят завести еще ребенка, на этот раз общего, но что-то не складывается. Я ей не верю. Лора не похожа на человека, намеренного обзавестись потомством. Она похожа на человека, с которым что-то не ладно. Она сильно похудела, хотя с самого начала была тонкой и прозрачной, как тень. У нее мешки под глазами и синюшная кожа. Она принимает пригоршни пилюль. И пока она пропадет у врачей, ее девчонка с нами. С Тоби. Куда чаще, чем мне хотелось бы.

Я не решаюсь спрашивать отца напрямую, да и это не моего ума дело. Факт остается фактом — теперь Тоби везде таскает это рыжее чудовище за собой. Если я считаю своим долгом заботиться о Тобиасе, он сам с чего-то решил, что заботиться о ней — его работа. Непостижимо, что он принял ее, хотя терпеть не может саму Лору. Временами он ведет себя с ней возмутительно грубо — хамит, не отвечает на прямые вопросы, выходит из комнаты, стоит ей появиться в дверях. Я просил его быть мягче, но в ответ он заявил, что я, в свою очередь, мог бы быть «мягче» с сестрой.

Но я-то, в отличие от него, держу себя в рамках приличий.

Я не проявляю открыто свою неприязнь, но никто не заставит меня сюсюкаться с ней, как он. Или хотя бы разговаривать. Пусть и молчать, сидя вместе на берегу, как-то глупо.

Я проверю Тобиаса. Солнце золотит волосы у него на макушке, и я вижу его голову среди бликов на воде. Он очень любит воду и чувствует себя в ней спокойно. Он то плавает брасом, то болтается у поверхности, откинувшись на спине. Я достаю сигареты, наблюдая за ним, но курить не хочется, — здесь приятно пахнет молодой листвой, почками и прибрежным песком, незачем вплетать в умиротворяющую обстановку табачную вонь.

Я поворачиваю голову и замечаю, что девчонка не просто сидит, а что-то рисует в блокноте, который всегда таскает с собой. У нее серьезный и сосредоточенный вид — губа закушена, рыжие брови сошлись на переносице. Она щурится от весеннего солнца. Из-за яркого света ее грива полыхает пламенем, как тот куст из Библии. Я все еще храню мамину Библию у себя, но заглядываю в нее совсем редко.

Ниточка, связывающая меня с мамой, все тоньше. Она теперь принадлежит другому миру — холодному, далекому миру духов и видений. Для нее время остановилось, а для нас — продолжает идти. Уже вторая весна без нее. Без открытых окон в зале и тихого звука рояля, доносящегося словно из самого сердца нашего дома.

— Эй, — окликаю я рыжую, и она вздрагивает. Она поднимает взгляд, удивленная, что я обращаюсь к ней напрямую, ведь обычно не делаю этого без особой нужды. — Что ты там рисуешь?

Ее пальцы рефлекторно дергаются, но она вовремя вспоминает, что я не разбираюсь в их жестовой тарабарщине. Она перелистывает страницу и пишет. Показывает мне крупные буквы: «НИЧЕГО».

Я все-таки вставляю сигарету в рот. Я испытываю злое удовольствие от того, что оторвал девчонку от ее занятия, но мне действительно интересно, что она там черкала. Она тот еще тихий омут.

— Так уж ничего, — издевательски тяну я. Встаю и делаю шаг к ней, протягивая руку. — Ну-ка. Покажи.

Она мотает головой из стороны в сторону: «нет».

Я пытаюсь вырвать у нее блокнот, но она отводит его в сторону, комкает страницу с рисунком и вдруг запихивает себе в рот. Я не могу разобраться, веселит ли меня или все-таки раздражает картина того, как она давится бумагой. Ее жест вполне себе демонстративный, но глаза при этом молят о пощаде.

Я могу простить упрямство и проявления характера Тоби, но не ей. Продолжит в том же духе — и я заставлю ее сожрать весь чертов блокнот.

— И как это понимать? — строго говорю я. — Что еще за представление?

Она быстро строчит на чистом листе:

«Никакого представления».

— Ну конечно, — фыркаю я. — Что ты там такое нарисовала, что никому нельзя видеть?

Я нестати вспоминаю дурацкий разговор с Кристи и ее намеки. Я и сам об этом думал, у меня хватает поводов для подозрений и всяких нехороших доводов. Слишком уж они сблизились с Тоби, все это не к добру. Мальчишки его возраста не дружат с девчонками, а то, что они сводные родственники, ничего не меняет. Остальная компания Тобиаса — сплошь мальчишки. И тут она. Да и у нее, надо думать, есть какой-то интерес. Готов поспорить, что малевала она там именно Тоби, и я обязан пресечь это дерьмо в зачатке, пока все не зашло слишком далеко. Это сейчас они еще дети, для которых самое смелое — подержаться за ручки, что я видел своими глазами, но дальше что будет?

Я хорошо знаю Тобиаса. Если он увлечется, его уже не остановить. И я хорошо знаю отца — он не допустит подобного под крышей нашего дома. У всех нас будут огромные неприятности. Кристи — дура, но она права. Девчонки как-то больше смыслят в таких вещах, большее подмечают. И Кристи, наверное, на моем месте не терялась бы. Она знала бы, что делать и что говорить. Я же чувствую себя предельно глупо, возвышаясь над этой пигалицей, мертвой хваткой вцепившейся в свой ненаглядный блокнот.

— Покажи, — требую я.

Она снова трясет головой. Рыжие патлы пружинят и прыгают туда-суда. Темные глаза блестят, будто она вот-вот разревется. Но меня не разжалобить. Я хочу знать правду, хочу получить или подтверждение, или опровержение догадок Кристи и своих собственных. Я нагибаюсь, хватаю блокнот и тяну на себя. Девчонка издает сдавленный скулеж, словно собака, которую жестокий хозяин пнул в бок носком ботинка. Отступает с позиций.

Я листаю блокнот, но большая часть страниц исписана крупным почерком, там лишь обрывочные фразы, предназначенные разным людям, не сведущим в языке жестов, да редкие завитушки и узоры, начерканные ручкой на полях. Я не успеваю добраться до чего-то по-настоящему интересного, как появляется Тоби, от него не укрылась наша стычка с сестрой, вот он и ринулся встать на ее защиту.

Он толкает меня мокрыми ладонями в грудь, но на большее не осмеливается.

Преимущество в росте и массе не на его стороне, все же между нами четыре года разницы и мои изнурительные тренировки. Он-то к спорту, кроме плавания, равнодушен, да и к последнему не проявляет особого рвения, если дело не касается праздного купания в водоеме.

— Хватит! — кричит он. — Прекрати!

Тоби забирает у меня блокнот и возвращает его рыжей — бережно, словно какое-то сокровище. Девчонка тут же прижимает блокнот к груди и баюкает, как дитя. Я оттаскиваю Тобиаса в сторону — она немая, а не глухая, и я не собираюсь выяснять отношения рядом с ней. У нас уже бывали конфликты на эту тему, не хочу повторения.

— Да как ты можешь так себя вести? — разъяренно набрасывается Тоби. По его щеке сбегает капля с волос, а футболка, наспех натянутая после купания, вся промокла.

— Как так? — невозмутимо спрашиваю я и закуливаю. Руки дрожат, я прячу их в карманы, чтобы Тоби не заметил мою нервозность.

Он отмахивается от сигаретного дыма ладонью.

— Прекрати обращаться с Лотти, будто она какой-то мусор, — понизив голос, продолжает он. — Что она тебе сделала?

Мне хочется сказать, что она и есть мусор. Лишь какой-то фантик, прилипший к Лоре и прибившийся к нашему дому вместе с ней. Но Лору лучше не упоминать, иначе Тоби окончательно выйдет из себя.

Нет, я не могу.

Не могу больше держать себя в руках.

Я думаю о Лоре, о том, что Тоби ненавидит ее, но не девчонку, что кажется мне невыносимым, неправильным и несправедливым. Мачеху он не принял, а вот ее дочь почему-то встретил с распростертыми объятиями. Абсурд!

— А ты сам не понимаешь? — вырывается у меня. Я ненавижу себя за обиду, что сквозит в этих словах. Мне плевать на Лору, потому что ей нет дела до Тоби, нет особого дела до меня. Они с отцом живут в каком-то своем мире. Но ее мерзкая дочурка вторглась в наш мир, мой и Тоби, и этого я простить не могу. С самого первого дня, год назад, когда села с ним рядом за мамин рояль. Захватчица. Как тот пришелец из любимого шоу Тоби. Холодное, чужеродное существо, что лишь прикидывается человеком.

— Хм... — многозначительно тянет он, — дай угадаю: потому что Лотти честна со мной и не обращается, как с несмышленным младенцем? Она бы сказала мне правду, что мама покончила с собой.

— Мы хотели тебя уберечь... — начинаю я, но запинаюсь. От его слов все внутри меня рушится. Он знает. Как давно он знает? Я проговариваю это вслух. Тоби дергает подбородком.

— Да я всегда это понимал, Винс, — заявляет он. — Мне не три года. К тому же все об этом шептались, все в школе. Кто-то... кто-то растрепал, что она была в дурке... и...

Он шмыгает носом — то ли замерз, то ли сдерживает слезы. Я больше не могу злиться на него и злюсь на себя, что пропустил это, проглядел столь важную деталь. Конечно, дети в школе только и делают, что делятся всем, что им удалось разнюхать, о каждой слабости, о каждой семейной трагедии. Глупо с моей стороны было думать, что правда не просочится сквозь кокон нашей с отцом заботы, не доберется до Тоби окольным путем.

У меня резко пропадает всякое рвение выговаривать ему за девчонку.

— Малыш, — беспомощно говорю я. Он не обижается. Его гнев тоже иссяк. Он крепко обнимает меня и его слегка потряхивает, от холода и нервного напряжения. Мы не так чтобы часто обнимались за всю нашу жизнь, ведь оба презирали все эти телячьи нежности, но в такой момент это кажется правильным.

Я думаю, что теперь все будет хорошо, что главный призрак исчез и больше не встанет между нами. Но призрак мамы был слишком эфемерным: чем дольше мы живем без нее, тем меньше его власть над нами. Осталось кое-что еще. Кое-что хуже лжи и недомолвок.

— Пожалуйста, — шепчет Тоби, — не обижай ее. Ради меня.

Она.

Проклятая девчонка, что молча наблюдает за драматичной сценой, развернувшейся на берегу.

Глава четвертая.

Лотти.

Сейчас мне кажется, что раньше я и не существовала, что я началась в тот самый момент, когда переступила порог их дома. Это воспоминание было таким ярким, что затмило все прежнее — раннее детство, нашу жизнь с мамой, мою первую встречу с отцом. Хотя это, безусловно, очень знаковое событие. По прошествии лет оно совсем поблекло и утратило остроту. Стало сухим набором фактов, газетными вырезками разрозненных образов. Да, был какой-то отец, его фабрика, долгий разговор. Но в целом — все это неважно.

Мама долго упрямилась. Ей становилось хуже, но чек, выписанный покойной Патрицией, по-прежнему болтался где-то на дне ее сумки — там, куда я не могла добраться. Я и не хотела. Я воспринимала этот клочок бумаги, как смертный приговор той хорошей женщине, что подписала своей рукой. Мне было страшно к нему прикоснуться, думать о нем, я задвигала эти мысли как можно дальше, строила стену, чтобы отгородиться от них.

И все это время я молчала. Мама таскала меня к психотерапевтам и логопедам, но я молчала. Молчала, когда она плакала и кричала, что было совершенно не в ее духе, моей обычно сдержанной, неунывающей матери. Я не хотела причинять ей боль. Это просто было сильнее меня. Я словно по-настоящему разучилась говорить. Даже оставшись наедине с собой, я не могла протолкнуть хоть слово сквозь плотную завесу тишины и собственноручно наложенный запрет. Тишина очищала меня. Баюкала в плотном коконе, избавляя от сожалений и слишком давящего для маленькой девочки чувства вины.

Именно мое молчание и толкнуло маму на отчаянный шаг.

Она обратилась к отцу. Она не страшилась своей участи и своей болезни. Она боялась, что я — беспомощная, крошечная, а теперь еще и скованная своим обетом — не выживу в опасном и сложном мире.

И отец сразу пожелал увидеть меня своими глазами.

Мы поехали к нему на предприятие. Там было шумно и так пахло какими-то химикатами, что меня замутило. Я запретила себе кривить лицо от едкого запаха, чтобы не обидеть отца, пока он вел нас сквозь дубильный, раскроечный и швейных цеха, с глубокой любовью и уважением рассказывая, как все тут устроено. Его кабинет располагался на втором этаже, за стеклянной перегородкой, с видом на всех работников внизу. Я встала у окна, чтобы было где спрятать взгляд. Мне было и совестно, и неловко смотреть на отца, я лишь наискосок, украдкой поглядывала в его сторону, тут же отворачиваясь обратно к стеклу.

Он был высоким и красивым. Седина чуть тронула его волосы на висках, но лицо оставалось моложавым. Во всем его облике — безупречном костюме, дорогих часах, широких плечах, крупных чертах было что-то величественное, что-то надежное и сразу располагающее к себе. Но у меня не было причин ему доверять. Когда-то он выбрал другую женщину, не мою маму. И я была слишком мала, чтобы найти объяснение его поступку. Я знала лишь то, что мне сказала мама, — о его нарушенных клятвах. Так что в итоге все, что я знала о нем, — он не хозяин своим словам. Этому предприятию и каким-то там другим — да, но не словам.

Сейчас он и правда горел желанием помочь нам.

После моего угрюмого молчания в ответ на все его расспросы, он обращается напрямую к маме. Он говорит, что «что-нибудь придумает». И я чувствую, как в нем нарастает желание исправить меня, такую неполноценную, переписать мой изъян. Он и так и этак пытался выдернуть меня из кокона тишины, но все без толку.

Я не позволила этого маме.

С чего я должна позволять ему?

Он распинаятся, рассказывая, какая у нас теперь может быть хорошая жизнь с его деньгами, про свой дом, машину, хорошую школу, возможности и шансы.

А потом он говорит мне:

— У тебя есть два брата, малышка. Ты хотела бы с ними познакомиться, с моими мальчиками?

Я испуганно мотаю головой. Я представляю себе, как они станут смотреть на меня глазами, точно такими же, как у их матери, погубленной мной женщины, и понимаю: я этого не переживу. Не выдержу живых напоминаний о том, что сделала. Им, наверное, страшно тяжело. Я привыкла расти в неполноценной семье, где есть только мама и я. А у них была Патриция, пока ее не отняла я.

Но мама решает все за меня.

Она выглядела такой изможденной и поникшей, что я прекрасно ее понимаю. Она устала от своей борьбы — за выживание, со всем миром и с недавних пор еще и со мной. Поэтому она дает Сеймуру шанс. Она соглашается выйти за него замуж. Не сразу — не когда мы пришли на фабрику, а после. Понадобится еще месяц-другой, чтобы она сдалась окончательно. Но я, кажется, уже в момент судьбоносного знакомства с отцом представляла, как все сложится дальше.

В день их свадьбы я впервые за долгое время вижу мамину робкую улыбку.

Она... счастлива?

Она надела свое лучшее платье, в котором, как правило, посещает дни рождения немногочисленных друзей и праздничные мессы в церкви. Я думаю, что, наверное, она все же получила то, о чем мечтала, пусть и спустя много лет, таким тернистым путем и при таких тяжелых обстоятельствах. Но между нами завеса моего молчания, и я не могу спросить ее напрямую. Она нежно целует меня в обе щеки и поправляет мои волосы на ступеньках дома, что отныне станет нашим.

Она ведет меня внутрь, крепко сжимая мою руку, а я, словно маленький ребенок, цепляюсь за ее юбку и силюсь спрятаться за маминой хрупкой фигуркой от всех ненастий. Я боюсь этой встречи.

Но мальчишка, что сидит на диване, скрестив длинные тощие ноги, не представляет никакой опасности. Он красивый, как принц из сказки, — плотные кольца темных кудрей обрамляют лицо, кожа — кровь с молоком. У него точеные черты лица и огромные грустные карие глаза. Он поднимает их на нас и захлопывает книжку, которую читал.

К счастью, рядом тут же появляется Сеймур, чтобы представить нас друг другу. Это его младший сын Тобиас, старший еще на занятиях.

А я... я — «дочь Лоры», не его.

И хорошо. Мне совершенно не хочется, чтобы Тоби с порога возненавидел меня, услышав, что я — плод интрижки его отца с другой женщиной.

Это стыдно и унижительно.

Унижительно знать, что даже в доме, на который я имею какие-никакие права, я всегда буду лишь «плодом интрижки».

Тобиас дожидается, пока взрослые уйдут, и заметно расслабляется. В присутствии мамы он вел себя настороженно, бросал на нее недоверчивые, хмурые взгляды. Она ему не понравилась. Ведь если он — принц из сказки, то, по всем правилам, ему не стоит ждать от мачехи ничего доброго.

Тоби вдруг показывает мне обложку книжки и спрашивает, читала ли я ее. Я качаю головой. Таких книг не было в школьной библиотеке, а для покупки собственных мы с мамой не располагали средствами. Да и к чему нам лишние вещи, если по некой причине придется снова сняться с места? Случалось такое, что мы переезжали из-за финансовых проблем или каких-то жизненных неурядиц.

— А хочешь? — дружелюбно спрашивает Тоби.

Я пожимаю плечами, но тут же думаю, что отсутствие энтузиазма с моей стороны выглядит невежливо. Он сделал шаг навстречу. От меня тоже требуется что-то подобное. Я вытаскиваю из сумки блокнот и пишу:

«Я бы хотела, если можно».

Темные глаза Тоби мечутся по странице, словно ему незнаком язык, на котором я изъясняюсь. Ему нужно время на осмысление.

— Ты не разговариваешь? — шепотом, словно кто-то может нас подслушать, уточняет он.

Его брови смыкаются на переносице — он не испытывает отвращения, не дичится, скорее заинтригован. Сбывается мой кошмар — я узнаю в его взгляде то тягучее, теплое сострадание, с которым на меня смотрела его покойная мать. Мне не хочется замечать, но сходство между ними все отчетливее. Лицо Патриции проступает через его еще детские, но утонченные, как и у нее, черты.

Я стараюсь отвлечься на окружающую обстановку, шарю глазами по предметам мебели, хрустальной люстре под потолком, телевизору последней модели в углу, — он, должно быть, цветной! — диванным подушкам с гобеленовым узором и изящным статуэткам на камине. Никогда прежде не видела каминов вживую. И никогда не была в таких роскошных домах. И не побывала бы, если...

Тоби стучит себя пальцем по уху, пытаюсь без слов спросить, не глухая ли я. Он смущен. Вдруг он бестактно расспрашивал меня, а я не могла услышать, о чем.

Я выдавливаю из себя улыбку и быстро пишу в блокноте:

«Я слышу, но не разговариваю».

— О... понятно, — бормочет Тоби и взволнованно ерзает на месте. Теперь я тоже тушу-юсь — все его внимание сконцентрировано на мне. Сейчас я ему куда интереснее, чем книжка.

Я считываю вопрос, крутящийся у него на языке, что со мной такое. Но я все равно не смогу дать ответ. Еще каких-то полгода назад я была обычной и также, как и все остальные дети, пользовалась своим речевым аппаратом.

Я не могу признаться ему, что наказана. За что именно. И кто меня наказал — я сама. Мои слова убивают. Я не собираюсь ему вредить. Он, судя по всему, очень славный и добрый мальчик. Другие мальчишки его возраста грубы и бестактны. У него хорошее воспитание и, надо думать, чуткое сердце.

Тобиас о чем-то долго размышляет, пока я оглядываюсь по сторонам, чтобы скрыть нервозность.

— Хочешь, я тебе тут все покажу? — предлагает он.

Я несмело киваю. И вот он уже хватает меня за руку и таскает по всем комнатам, сбивчиво рассказывая, что перед нами. Он вываливает на меня столько информации, что я теряюсь. В итоге я не запоминаю, как мы оказываемся у рояля.

Монументальный черный инструмент напоминает мне один из тех огромных, великолепных кораблей, о которых я любила читать и фантазировать раньше.

И там — в его недрах, словно с морского дна, рождается что-то таинственное и волнующее.

— Я люблю сюда приходить, — признается Тоби, и мне неловко от того, что он так откровенен со мной в первую встречу. На минуту в моем мозгу мелькает мысль, что он тоже по-своему одинок. Но это едва ли возможно, ведь у него есть брат. И отец. И, наверное, куча друзей. У такого хорошего мальчика просто не может не быть друзей.

— Он... на нем когда-то играла мама, — добавляет Тоби.

Я тянусь, чтобы погладить его по плечу. Это происходит рефлекторно, против моей воли — чистый инстинкт оказать поддержку подавленному человеку.

Я, по правде, имею не больше права его утешать, чем быть здесь. Все это в корне неправильно. Но он ничего не знает. Он с благодарностью принимает этот неуклюжий жест и грустно улыбается.

— Ты играешь? — с надеждой интересуется он. И хотя его предположение кажется мне nonsensical, оно почему-то мне льстит. Будто тем самым я могла вернуть ему хоть что-то из того, что отняла.

Я качаю головой: нет.

— А хотела бы научиться?

Прежде, чем я отвечаю, он скользит пальцами по клавишам, и струны рояля поют.

Я хотела бы научиться, только это не имеет никакого значения. Страх во мне сильнее. Я боюсь, что из рояля выпрыгнет призрак той женщины. Той...

— Ты сделал уроки?

Тобиас подсказывает на месте, отдергивает руки от клавиатуры и косится мимо меня в сторону, откуда доносится голос. Он не принадлежит Патриции, но лучше бы принадлежал. Мне думается, что ее неуспокоенный дух испытывал бы меньше недовольства, застукав нас здесь, чем тот, кто стоит на пороге комнаты. У меня сводит мышцы в шее, когда я все-таки поворачиваю голову, чтобы взглянуть на обладателя голоса. Напряжение разливается дальше, и все мое тело сжимается, стремится стать еще меньше под тяжелым, полным ненависти взглядом. Он предназначен не Тоби, а мне. В этом нет и малейших сомнений.

Я уже имела дело с неприятными мальчишками, но это другое.

Старшему сыну Сеймура словно известно, кто я, вся моя подноготная, что я родилась от измены его отца, что я погубила его мать, что я — причина, по которой глаза Тоби так печальны. Он этого не скрывает. А я таращусь на него, как заколдованная, подмечая мельчайшие детали. Он старше и выше. В нем нет хрупкости и утонченности Тобиаса, но есть какая-то внутренняя сила, которая ощущается за версту. Не из-за крупной фигуры спортсмена, крепких мышц и роста. Он чувствует себя здесь хозяином. И хозяин не позволял нам быть рядом с этим инструментом. Я случайно стала сообщницей в совершении преступления. Мы нарушили какие-то правила, о которых мне ничего неизвестно.

— Папа сказал, что сегодня мы... — лепечет Тоби. Следом он что-то неразборчиво говорит уже мне. Мой смятенный разум ухватывает лишь обрывки звуков, но не способен сложить их в слова.

Старший брат переводит взгляд на Тобиаса, и гнев сходит с его лица. Светлые глаза становятся не такими холодными. Их цвет уже не стальной-серый, цвет мрачного, штормящего моря, а прозрачной воды у берега в ясный день. В них беспокойство и нежность. Так смотрят на того, кто тебе очень дорог. Я знаю. Я видела такие же трансформации в глазах мамы.

— Иди наверх, — говорит старший брат Тоби, — и сделай, пожалуйста, домашку. Я проверю.

Следом он сухо и деловито обращается ко мне:

— Как тебя зовут?

Тоби подбирает рюкзак, должно быть, оставленный тут ранее, задолго до моего появления, и намеревается сбежать. Я в ужасе: он бросит меня на растерзание сурового брата? Вот тебе и теплый прием! Я готова умолять Тобиаса о защите, умолять забрать меня с собой. Иначе мне не останется ничего другого, кроме как провалиться сквозь землю. Страх сковывает меня от макушки до пяток. Я боюсь дышать. А свой блокнот — свою жалкую броню — я бросила где-то в гостиной. Я беззащитна.

— Язык проглотила? — давит старший.

— Винс, она... — встречает Тоби, задержавшись рядом с ним в дверях, — не может разговаривать. Она немая.

— Дьявол.

Они обмениваются долгими взглядами, смысл которых мне не понятен, и уходят, оставив меня в одиночестве. Я смотрю, как они уходят, и думаю, что есть вещи, способные одновременно и пугать, и притягивать. Мой старший сводный брат — одна из этих вещей.

Я вспоминаю, как когда-то давно, пока мы с мамой не перебрались в город и жили в стареньком трейлере ее друзей, я иногда выходила на улицу в сильную непогоду. Я садилась на облезлую железную ступеньку фургончика и, подставив лицо порывам штормового ветра, трепавшего соседское белье на веревке, заставлявшего усталое железо петь и трепетать, ждала прихода бури. Ненастье завораживало меня. Предвкушение звенящего озоном воздуха и первых капель дождя пускало приятные искорки по позвоночнику. Пыль набивалась под веки. Смаргивая ее с ресниц, я все равно смотрела в тяжелое, серое небо, такое же, как эти глаза.

Я ошибалась, эти глаза не были такими же, как у Патриции. Но их переполняла ненависть ко мне, что было намного хуже. Заслуженная, совершенно оправданная ненависть. Будто он видел меня насквозь и доподлинно знал, кто я. Ядовитый росток. Побег омелы.

Убийца.

А я... Кажется, я уже любила его в тот самый момент.

И с этой минуты для меня началось новое летоисчисление.

1964 год, Детройт, Мичиган.

Мы, как всегда, делим обед с Тоби. Стоит приятный, погожий денек, и, радуясь первому весеннему теплу, ребятня всех возрастов заполонила школьный двор. Мы с братом устроились в тени огромного вяза, расстелив на траве фирменные пиджаки. Коробки с сэндвичами, собранные для нас кухаркой, валяются прямо на земле, и я сильно озабочена тем, чтобы отгонять от них любопытных насекомых. Тоби такие мелочи не волнуют. Он беспечен, как и подобает настоящему принцу.

Тоби вываливает на меня поток информации, пытаюсь одновременно пережевывать пищу. Я побаиваюсь, как бы он не подавился, и пропускаю большую часть сказанного мимо ушей. Все его увлечения уже давно перемешались у меня в голове. Я путаюсь в именах и названиях и, стыдно признать, не смогла бы ответить, задай мне Тоби проверочный вопрос об услышанном. Случилось ли какое-то событие в новом фильме про Джеймса Бонда, выпуске его любимых шоу, вроде «За гранью возможного», что там опять обеспокоило Людей-Икс, или с каким злодеем на этот раз пришлось сразиться Бэтмену. Я уже почти год впитываю его мир, но он так огромен, куда больше моего прежнего, что вот-вот польется из меня через край.

Да и мысли мои заняты другим: я поглядываю по сторонам в поисках массивной фигуры нашего старшего брата. Винсенту не понравится, что Тоби пренебрегает манерами и болтает с набитым ртом, так что кто, если не я, сможет предвосхитить катастрофу. Винс обязательно сделает младшему замечание, а тот скажет какую-нибудь гадость в ответ. Мне же достанется за компанию. Просто за то, что я — ненавистная рыжая девчонка, мелкая пакость, что завелась в их доме, «она» и «эй, ты».

Я стою между ними, хотя и не просила об этом.

Тобиас добр ко мне. Со мной он чувствует себя куда свободнее, чем с братом или отцом. Я не выскажу ему недовольства, не стану бранить за дурные манеры. Я слушаю молча и комментирую услышанное крайне редко. Для этого мне нужно отложить еду и освободить руки. Тоби учится у меня языку жестов и уже неплохо в нем поднаторел, но некоторые выражения мне все еще приходится записывать в блокнот, если он не понимает, что я имею в виду. Дома у меня целая коробка блокнотов, исчерканных разными фразами.

Но по этой причине, наверное, Тоби ценит меня больше других своих друзей. У нас есть свой секретный язык, словно мы члены тайного ордена. Ему нравится все таинственное, зага-

дочное и странное, а также возможности, что дает общение, в которое никто со стороны не сможет сунуть свой нос. Со мной он может обсуждать всякие странные теории, свое намерение выкопать бункер на заднем дворе, истории о пришельцах, что он вырезает из газет и прячет в коробку под кроватью, комиксы с нелепыми героями, просмотренные фильмы и прочитанные книги. Ему нужен тот, кто будет его внимательно слушать. Я это умею. И я сама не люблю говорить. Не могу говорить.

Сначала мама и Сеймур пытались что-то предпринять, как-то вылечить мою немоту, но постепенно оставили эту затею. Здоровье мамы ухудшилось. Она все больше времени проводит в больницах, часто отсутствует дома. Для своей новой жены Сеймuru не жалко никаких денег на лучших специалистов. За минувший год он отправлял маму на обследования и в Нью-Йорк, и на западное побережье, и во многие другие места, где есть хорошая медицина, этим летом ее ждет поездка в Европу. Прогресса нет. Но Сеймур не хочет сдаваться. А мама... стала тенью самой себя.

Иногда мне кажется, что дом, ставший нашим, по-своему проклят, словно зловещий замок из страшной сказки, и любая его хозяйка вынуждена медленно угасать, пока не зачахнет совсем. Тоби рассказывал мне, что несчастье, приключившееся с его матерью, как он это называет, не было такой уж неожиданностью. У Патриции тоже был свой недуг, сжигавший ее много лет, правда несколько иного рода.

Его слова меня совсем не утешили. Даже если это правда, и Патриция давно страдала от тяжелой душевной болезни, именно я стала тем, кто подтолкнул ее к роковой черте. Мои пальцы лежали поверх ее, когда она взводила спусковой крючок своего револьвера в том роскошном отеле в центре города.

Тобиас показывал мне это место. Мы как-то сбежали из школы, чтобы посмотреть на него, и, конечно же, нарвались на сильные неприятности, схлопотав выговор не только от Винсента, но и от отца. Винс приглядывает за нами, как тюремный надзиратель, и обо всем докладывает отцу. Теперь я четко знаю: если мы не сядем в его машину после занятий, у нас будут проблемы.

Но сегодня тот день, когда наши пути с Тоби расходятся. Хотя мы и учимся в одном классе из-за того, что как-то он пропустил год из-за неуспеваемости, не все наши факультативные предметы совпадают. Тоби идет на занятия по плаванию, которые посещает по настоянию брата, ведь пора уже думать о своем будущем и, чтобы не полагаться всецело на состояние отца, можно попытаться удачу со спортивной стипендией. Тобиас любит плавать и это — единственное, что он согласен делать по доброй воле часы напролет.

Потому я оказываюсь предоставлена самой себе, как в прежние времена, когда мы жили вдвоем с мамой, а не были частью этой чужой семьи.

Я иду домой пешком, наслаждаясь теплой погодой и ласковым солнцем, но, вдоволь пресытившись прогулкой, прибавляю шаг. Не каждый день выпадет тот редкий случай, когда дома нет никого, кроме прислуги. Отец на работе, мама на очередном обследовании, а братья каждый на своей тренировке. У меня в запасе пара часов. Мне заведомо известно, чему я хочу их посвятить.

Негласное правило: рыжей девчонке запрещено приближаться к роялю. Но он манит меня, словно наделенный какой-то магической силой. Я не могу устоять.

Я вслушиваюсь в звуки особняка и бегу на кухню, чтобы быстренько поздороваться с Мод. Она целует меня в макушку и обнимает. Эта темнокожая женщина любит меня, как свою родную внучку. Мне даже неловко от того, что она добра ко мне без всякой причины. Но она чувствует, что мы с мамой другие — не такие, как Сеймур и его сыновья. Они высокомерны, а у нас куда больше общего с прислугой, чем у настоящих хозяев дома. Я не чужда труду. Периодически, по старой памяти, я помогаю Мод по хозяйству.

— Rousse, — нежно говорит она, — голодная?

Мод креольского происхождения, когда-то они с родней перебрались сюда из Луизианы, и потому она частенько вставляет в речь чуть исковерканные французские словечки. Я не знаю значения большинства из них, кроме этого. Она называет меня рыжей, только вот в ее устах, в отличие от моего старшего брата, это не звучит оскорблением, а имеет какой-то свой, одной Мод понятный смысл. Винсент как-то сказал Тоби, что у рыжих нет души. Мод явно имеет в виду что-то другое.

Ей меня жаль.

Я мотаю головой и демонстрирую старухе пустую коробку от сэндвича.

«Спасибо».

Она уже знает, как выглядит это слово на жестовом языке, и улыбается крупным белозубым ртом.

Мод косится мне за спину, прислушиваясь к звукам в доме. Вытирает руки о передник, после чего ненадолго исчезает в своей каморке, а вернувшись, протягивает мне стопку листов. Я разглядываю их с любопытством и не сразу решаюсь завладеть этим сокровищем. Она говорила мне, что ей известно, где их взять. Но мне сложно поверить своему счастью — тому, что она выполнит обещание.

— Это ноты хозяйки, — объясняет она, — упокой Господь ее душу. Я сберегла их. Но не говори никому, что я дала их тебе.

«Спасибо, спасибо!»

Мод со вздохом что-то причитает на своем креольском французском.

— Ох... прости, gousse, — она хлопает себя по гладкому, смуглому лбу. — И о чем я! Кому ты скажешь, бедняжка...

«Ничего».

Я порывисто прижимаюсь к ее мягкому, необъятному телу. От нее пахнет средством для уборки и домашней стирки. Она — символ уюта, о котором я ничего не знала, скитаясь вместе с мамой по убогим съемным углам и меблированным комнатам.

Отстранившись, я провожу рукой над лицом, изображая, как застегиваю невидимую молнию. Мод понимает меня без слов.

«Я никому не скажу».

Даже Тоби. И маме. Ей не нравится интерес, который я испытываю к наследию покойной жены Сеймура, но куда больше ее настораживает ревнивое отношение его старшего сына по отношению к инструменту.

Но при этом сам Винсент вовсе не порывается на нем играть.

А мне по-своему обидно, что чудесный рояль заперт в кабинете и совсем позабыт домо-чадцами. Для них — он лишь мрачный символ темного прошлого. Для меня... Я не знаю, что он для меня. Но, застыв перед ним, посреди кабинета я испытываю восторг и трепет.

На гладкой поверхности играет солнечный свет, он как огромное черное зеркало из обсе-диана.

Я не сразу решаюсь приблизиться к нему и каждый шаг дается мне нелегко. Я опять нарушаю главное правило. Я совершаю преступление, за которым обязательно последует жестокое наказание. Попадись я здесь Винсу...

Сегодня у него тренировка, успокаиваю я себя, какая-то из, и иногда я завидую тому, что он будто умудряется быть в нескольких местах сразу, чтобы все успевать, но временами мне его чудовищно жаль. Уж лучше быть невидимкой, как я, чем отдуваться за нас троих. Нападающий в футболе, центровой в баскетболе, первый базовый в бейсболе, а помимо того еще и круглый отличник. Не представляю, как среди всех этих занятий он улучшает время на сон и, конечно, ненависть к моей скромной персоне. В глубине души я лелею глупую надежду, что однажды у него не останется сил на последнее. И тогда, быть может, мы станем нормально общаться. Наивно рассчитывать, что он вдруг станет заботиться обо мне, как о Тоби, но я согласна и на

самую малость. Только бы перестать быть мерзким насекомым в его глазах. Услышать от него свое имя, а не презрительное «эй» или «рыжая».

Откинув крышку, я ловлю себя на мысли, что, возможно, подсознательно пытаюсь понравиться. Ведь на этом прекрасном инструменте играла их мать. Я надеюсь, что хоть одна общая черта с ней — музыка — сделает меня менее отвратительной в глазах Винса. Я очень глупа. Очевидно, что я только все порчу.

Я пытаюсь представить себе Патрицию — эту изысканную, но печальную женщину, на месте, где сейчас сижу я, увлеченную исполнением этюда или пьесы. Ее фигуру, объятую солнечным светом из высоких окон, собранные волосы и красивый профиль. Пыль, кружащуюся в воздухе, наполненном музыкой.

В этом доме не принято о ней говорить, но я словно чувствую эхо ее шагов и незримое присутствие. Мне так жаль, что она умерла. Я хотела бы узнать, какой она была при жизни, пока ее дыхание не оборвал тот роковой выстрел. Или встреча с проклятой рыжей девчонкой.

Прикасясь к клавишам, я прикасаюсь к ее душе, навсегда заключенной в черно-белых клавишах.

Я молю о прощении.

Слезы капаят на нотные листы, разложенные у меня на коленях, и сквозь пелену на глазах я пытаюсь разобрать хитросплетение неведомых закорючек. Я выуживаю из памяти сведения, что почерпнула в школьной библиотеке, силясь разобраться в нотной грамоте, но моим рукам не хватает опыта и скорости, оттого мелодия выходит неуверенной и тихой.

Даже в столь несовершенном виде — это чистое, непостижимое волшебство.

Звуки уносят меня далеко — от моего хилого тельца, гротескно-крошечного возле огромного рояля, от раскаяния и грустных мыслей. Я позволяю музыке вести себя в какое-то иное, прекрасное место, где нет смерти, болезней и одиночества. Я не замечаю, как яркое солнце закатывается за горизонт, а комнату наполняют синеватые тени. Я уже не силюсь разобраться в нотах и просто сижу у рояля, восстанавливая в памяти те последовательности клавиш, что мне удалось разобрать. Я не слышу шагов. Я забываюсь. Забываю, что за все на свете нужно платить. И особенно — за нарушение правил.

Я отдергиваю руки за минуту до того, как тяжелая крышка перебьет мне костяшки пальцев и пресечет раз и навсегда глупые мечтания о музыке.

— Какого черта ты тут забыла?

Я вжимаю голову в плечи и тороплюсь спрятать ноты, но Винсент проворнее. Он отнимает их у меня и, щурясь, разглядывает свою добычу в полумраке зала. Вот она — главная улика!

За этот год я неплохо научилась выгадывать моменты, когда он отвлекся, чтобы осторожно посмотреть на него, ведь его, словно он какой-то дикий, агрессивный зверь, страшно раздражает прямой зрительный контакт. Со мной. Ненавистой рыжей девчонкой. А мне важно оценить степень его гнева, да и хочется лишний раз на него полюбоваться. Темнота крадет у меня то небольшое, что я могу себе позволить. Я вижу только светлые рукава его спортивной куртки и белоснежную кожу. Волосы чуть влажные, и несколько прядей прилипло к вискам. Глаза кажутся темнее, сейчас они цвета графита. И в них полыхает ярость.

Мне конец.

Мне не найти себе оправдания.

— Где ты это взяла? — следует ожидаемый вопрос.

Я сползаю со стула и пачусь, пачусь, готовая к удару, хотя прекрасно осведомлена, что воспитание не позволит Винсу поднять на меня руку. Маневр с крышкой рояля был первым открытым проявлением неприязни с его стороны. Но я сама виновата. Я преступила черту. Все возможные из них.

Я подбираю свою сумку с пола, достаю блокнот и ручку. Пишу крупными буквами:

«Нашла».

Пусть моя дальнейшая участь будет печальной, я не хочу, чтобы досталось и Мод. Я умею быть благодарной за доброту. Увы, мой ответ не устраивает Винсента. Не исключаю, что он толком и не разобрал мой пляшущий от волнения почерк. Не исключаю, что ему неинтересно, что я там начеркала.

Допрос продолжается:

— Ты рылась в вещах моей матери?

Я молчу. Ручка нервно чертит круги на краю страницы. Обвинение куда серьезнее, чем просто прийти сюда и быть застуканной у рояля.

Темнота вокруг действует угнетающе. Винс выше меня в сто раз и еще в тысячу сильнее. Он сломает мне шею двумя пальцами прежде, чем я успею придумать, что сказать. Но пока он этого не делает, я цепляюсь за крошечный шанс и вывожу буквы на бумаге. Винсу приходится сделать шаг, чтобы прочитать мои каракули, и чем он ближе, тем сильнее ужас, сковавший меня. И что-то еще, для чего у меня пока нет названия. Ведь, как правило, он предпочитает меня игнорировать и это едва ли не первый раз, когда он вступил со мной в прямой диалог. Подобие диалога.

«На чердаке. Прости, я не знала, что это ее».

— Не смей брать что-то без спроса, — цедит он, — и не смей приходить сюда и трогать рояль. Ясно тебе?

Я киваю, но потом, резко передумав, мотаю подбородком. Непослушание, проявленное мной, так сильно удивляет Винсента, что он даже слегка сдает позиции. Ярость в его глазах сменяется искренним недоумением. Бессловесная мелкая тварь, оказывается, имеет свою точку зрения. Но я не ставлю перед собой цели рассердить его еще больше. Я... мне стыдно признаваться в том, чего я желаю на самом деле. Я не смогла бы это озвучить. Я счастлива, что скованна цепями молчания.

Я пишу:

«Мне очень жаль. Но я просто хотела...»

Мне не хватает смелости довести начатое до конца. А Винсенту не хватает терпения дожидаться, когда я преодолею внутренний барьер и решусь на откровенность. В любом случае мое признание ничего бы не изменило. Вполне невинное признание в том, что я просто хотела бы научиться играть.

Ему все равно нет до этого дела. Он подчеркивает это своими следующими словами:

— Меня не колышет, чего ты там хотела, — выплевывает он. — Если я еще хоть раз увижу тебя здесь...

Он не успевает закончить свою угрозу, как нас обоих слепит люстра под потолком. У выключателя стоит Тобиас, и, судя по его виду, он пришел, чтобы спасти меня от бесславной гибели. В этом нет абсолютно ничего хорошего — это лишь отстроченная казнь. Я знаю, что Винсу не нравится наша дружба с ним, а особенно не нравится то, что Тоби заступает за меня. Они часто ругаются на эту тему. Винс обязательно отыграется на мне за то, что сейчас Тоби принял мою сторону.

— Отцепись от Шарлотты, — требует Тоби.

— Ей нечего тут делать, — говорит Винсент, будто меня здесь нет.

Тоби это не нравится. Его бледные скулы заливает румянец. Он в ярости. В отличие от Винса, он не умеет контролировать свои эмоции и сейчас неминуемо устроит истерику. Тоби надувает щеки, намереваясь выплеснуть все, что в нем накопилось. Он не способен, как брат, говорить вкрадчивым, спокойным тоном, даже когда очень зол. Но вкрадчивый тон Винса и его пронзающий взгляд пугают меня куда больше, чем если бы он швырнул стопку нот мне в лицо.

— Она не глухая! — взвинчено напоминает Тоби. — Она прекрасно тебя слышит! И если она хочет быть здесь и играть на рояле, то имеет на то полное право! Кто ей запретит

Мама? О, ну, достань ее из могилы, чтобы спросить, что она об этом думает? Вперед, Винс! Отец? Да ему поебать! Ты? Ты здесь не главный! Какое тебе вообще дело!?

— Тобиас, — предостерегающе говорит Винс, — прекрати...

— Это ты прекрати! — не унимается Тоби. — Прекрати до нее доебываться! У тебя какие-то проблемы? Так и тянет лезть к кому-то, кто не даст отпора? Ну, попробуй! Она не даст, так я тебе вмажу. Если Лотти хочет играть — пусть играет! Я разрешаю. Или мое слово для тебя тоже ничего не значит?

Я вижу, как опасно сужаются зрачки Винса. Он поджимает губы и все же сдерживается. Он качает головой, брезгливо бросает ноты на крышку рояля и уходит. Тоби провожает его взбешенным взглядом и шумно дышит. Стоит старшему брату исчезнуть в полумраке коридора, Тобиас подходит ближе, аккуратно собирает разлетевшиеся листки и протягивает их мне.

— Держи, — говорит он.

Мои руки дрожат — я не могу принять этот дар. Я мотаю головой. Мне не нужна победа, одержанная такой ценой. Я думаю о том, что натворила, о том, что сейчас, должно быть, испытывает Винсент. Я не виновата в том, что его отец предал мать, но предательство брата — полностью моя вина. Это неправильно, неправильно, что Тоби встал на мою защиту, что они ссорятся из-за меня. Но я не могу даже пойти вслед за ним и извиниться, признаться, как глупо сожалею из-за этой некрасивой сцены. Из-за его матери. Из-за всего вообще.

Я — чудовище. Я не заслуживаю доброты Тобиаса, не заслуживаю доброты Мод, не заслуживаю сидеть за этим роялем и вообще жить в этом доме.

— Он просто заносчивый придурок, — продолжает Тоби, чтобы меня утешить, но это совершенно не тянет на утешение. Я возвращаю ему ноты, только он не хочет их брать. Стоит с отупелым видом. Ему непонятны мотивы моих поступков и целого блокнота, десяти блокнотов не хватит, чтобы я смогла это объяснить.

Поэтому я пишу только два слова:

«Он прав».

Глава пятая.

Винс.

Я говорю себе: возьми себя в руки, черт тебя дери, остался последний год. Я не успею и глазом моргнуть, как настанет время покинуть отчий дом и отправиться в колледж. Я не хочу уезжать с тяжелым сердцем, полным раскаяния из-за того, что мне так и не удалось наладить отношения с братом. И почему, по какой такой причине? Вовсе не из-за несносной девчонки, она-то тут ни при чем. Из-за моего упрямства. Тобиас упрямый, но и мне свезло унаследовать эту черту. Она у нас семейная. С дедом невозможно было поспорить, с отцом тоже. Вот и мы с братом отличаемся абсолютной непримиримостью, если вдруг что-то вбили себе в голову.

Рыжая пигалица — лишь предлог, камень преткновения, но истинный конфликт мы раздули сами, без ее участия. Он убедил себя, что сводная сестра теперь его лучший друг, а для меня ненавидеть ее — уже больше вопрос принципа, чем реальное желание. В сущности, мне нет до нее дела. Она слишком жалкая и не стоит таких сильных чувств. И если Тоби отчего-то решил, что я обязан с ней поладить, я хотя бы попробую сделать это ради него.

Но и с самим Тоби непросто.

Он входит в ту самую стадию подросткового возраста, которую я, будучи немного старше, уже прошел, и вспоминаю с искренним отвращением. Большинство его поступков продиктовано непреодолимым стремлением делать что-то кому-то наперекор. К несчастью, мои попытки пойти на мировую он тоже воспринимает в штыки.

Тоби сидит на кровати, обложившись своей коллекцией комиксов, книжек и газетных вырезок, и рассортировывает их перед тем, как вклеить в большой альбом.

— Привет, — говорю я.

— Привет, — откликается Тоби, не поднимая на меня глаз. Он ждет, что я просто уйду. Он всем своим видом демонстрирует, что очень занят. В последнее время даже рыжая все реже составляет ему компанию в его расследовании чего-то непонятно непонятно для чего. Но я тут, чтобы разобраться.

— Что это ты делаешь?

Я осторожно приближаюсь к нему. Тоби замечает — смотрит на меня, нахмурившись. Темные выющиеся волосы, давно нуждающиеся в стрижке, падают ему на лицо. Он смахивает их.

— Тебе ведь все равно, — заявляет он. — Зачем тогда спрашивать?

— Почему ты так решил?

Тоби закатывает глаза. Этот жест он добавил в свой арсенал совсем недавно и использует по случаю и без. Тем самым он дает понять всем окружающим, как незначительно, ничтожно и бессмысленно все, что они ему говорят.

— Я знаю.

Вот и поговорили. Это повторяется раз, другой, третий. Он отмахивается от моей помощи с уроками. Он намеренно задерживается на занятиях, которые посещает один, без сестры, чтобы я ждал его в машине, или выскальзывает через другой выход и тащится домой один. Это запрещено, но нарушение правил доставляет Тоби изощренное, мстительное удовольствие.

Сегодня мне надоедает торчать в тачке и я иду внутрь, намереваясь вытащить его за шкуру. Но этому не суждено состояться: другие ребята говорят, что он давно ушел. В итоге я просто зря потратил время — время, которому знаю цену. Я выхожу из себя, но мне не на ком выместить злость, ведь Кристи на танцах с подружками, Тоби смылся, а рыжая... во имя примирения с братом я соблюдаю дистанцию и не лезу к ней, как бы ни было велико искушение. Случай у залива послужил мне уроком. Открытая конфронтация с несносной девчонкой —

последнее, что мне стоит делать, если я хочу добиться расположения брата. Я не могу прямо здесь и сейчас резко проникнуться к ней теплыми чувствами, но хотя бы удерживаю свою неприязнь в рамках приличий. Еще немного работы над собой — и мне станет действительно плевать на нее. Настоящий прогресс.

Так мне кажется. Когда в этот злосчастный день я вижу ее вызывающе-яркую шевелюру на улице, меня так и подмывает нарушить собственные табу. Она одна. Тоби нет поблизости, чтобы засвидетельствовать мой срыв, и отчего-то я сомневаюсь, что девчонка побежит жаловаться. Я это не исключаю, но, по правде, этот вариант кажется мне нереалистичным. Она... еще та тихушница. Не потому, что немая, а потому что себе на уме. Она давно могла бы наябедничать отцу или мачехе, что я не очень-то ласково с ней обращаюсь, но до сих пор этого не сделала. И это невольно вызывает уважение.

Я паркуюсь и издалека наблюдаю за ней, прикидывая, стоит ли игра свеч. Но, как оказывается, не только мое внимание привлекает ее рыжая голова и одиночество, делающее ее беззащитной. Я замечаю девчонок из их класса и я предположил бы, что они подружки и сейчас просто пойдут дальше вместе, но они преграждают ей дорогу. Вероятно, они тоже долго выгадывали момент, когда она окажется без защиты Тоби. С ним никто связываться не хотел. Он — добрый и чуткий малый, но в случае необходимости за словом в карман не лезет. Пару раз мы с отцом уже забирали его из кабинета директора после инициированных им потасовок. Для Тоби все обошлось — он признался, что полез в драку из-за того, что кто-то смел говорить плохое о маме. А до того он как-то подрался из-за антисемитских высказываний в адрес нашей семьи. Понятное дело, что гнев отца тут же схлынул, раз Тоби защищался, отстаивая то, что ему дорого. Но лучше бы он, конечно, не дрался, а избрал другой способ поставить обидчиков на место.

Я опускаю окно, надеясь подслушать, что эти девицы говорят сестре, но с такого расстояния сложно разобрать. Мне не видно лица рыжей, но, судя по тому, как нервно она выуживает из кармана очередной из своих блокнотов, ей не очень нравится то, что она слышит.

Она не успевает дописать что-то на странице, прежде чем одна из девчонок, более крупная и рослая, вырывает у нее блокнот. Другая толкает ее ладонями в грудь, еще одна — чем-то замахивается в воздухе. Тут-то я понимаю, что самое время вмешаться.

Я действую прежде, чем успеваю все осмыслить. Лишь потом до меня доходит, что мне в кои-то веки удалось то, что я так долго пестовал в себе во имя примирения с Тоби. В эту минуту я не помнил, кто она. Я поступил так, как поступил бы, будь она моей сестрой в самом деле.

За настоящую сестру я вступился бы без сомнений. Если бы какие-то глупые, заносчивые курицы из школы вздумали обижать ее — мою, черт ее разбери, сестру, хилую и беззащитную, я устроил бы им знатную взбучку. За Тоби я прописал бы им так, что у них впредь отпало бы малейшее желание выкидывать подобные финты. А Тоби, наверное, испытывает то же самое по отношению к рыжей. Он готов драться за нее даже со мной. Вот и ответ. Все элементарно.

Я мчусь к ним, но уже слишком поздно. Одна из девиц успевает плеснуть в рыжую красной краской из маленькой бутылочки, которую тут же бросает в траву, следом летит и блокнот. Рыжая оборачивается — и алые капли оседают на ее волосах и пиджаке, лишь несколько достигают кожи на щеке и шее. Она дерганным движением вытирает их, и кажется, что тыльная сторона ее ладони перемазана не в краске, а в крови.

Мне не нужно ничего говорить — девицам хватает моего приближения с грозным и недобрым видом. Они ретируются со скоростью, которой позавидовали бы любые чемпионы по школьным нормативам. И рыжая тоже торопится подняться на ноги и убежать, но слишком дезориентирована, чтобы достичь той же прыти.

Я не знаю, что говорить, потому вместо этого стягиваю куртку и протягиваю ей, чтобы она могла тканью стереть краску. Она таращится на протянутую куртку так, будто я тычу ей в

лицо ядовитой змеей, и качает головой. Она всегда так делает, когда хочет избежать разговора, я давно приметил за ней эту черту.

— В машину, — командуя я и выходит как-то резко и грубо. Рыжая в курсе, что неповиновением раздражит меня еще больше. С видом раннехристианской мученицы она принимает кофту, но не использует ее по назначению, а прижимает к груди и шатко встает. Стоит передо мной, вылупив темные глаза. В них ясно читается страх. Она, должно быть, думает, что ей ужасно не повезло: из огня да в полымя.

— В машину, — повторяю я.

Она понуро плетется следом, готовясь огрести еще и от меня. Но я всего лишь намереваюсь отвезти ее домой, чтобы избавить от других неприятностей, которые она найдет на свою морковную голову по пути от школы. Я открываю перед ней дверцу, подавляя желание силой затолкать в салон. Это не вписывается в рамки тенденции вести себя с ней «помягче», о чем меня в тот раз у озера просил Тоби.

— Что стряслось? — спрашиваю я, стоит рыжей занять место спереди. Раньше она всегда садилась сзади, забиваясь за сидение, и теперь явно испытывает острый дискомфорт, как от перемены, так и от ситуации в целом.

Я закуриваю, а ее пальчики порхают над страницами блокнота. Откуда-то мне известно, что она там напишет. Всего одно слово.

«Ничего».

— Ага, как же, — фыркаю я. Мне внезапно становится смешно — как я собираюсь добиваться с этим молчаливым пугалом хоть какого-то взаимопонимания, если из нее и слова клещами не вытянешь? Она и сама могла бы сделать хоть что-то, чтобы упростить мне задачу. Не учить же мне ради нее язык жестов?

Я уже думал об этом. Меня напрягает, что у них с Тоби есть свой тайный «шифр», понятный только им двоим и чуть-чуть Лоре. Лора владеет этим языком, но не так хорошо, как рыжая и брат, которого она основательно «натаскала» всяким штучкам за минувший год. Ему она, выходит, больше доверяет. Даже больше, чем своей матери. Их отношения своеобразные, но не менее своеобразные, чем те, что связывали меня с моей матерью. Только в моем случае это мама была немой, ведь так и не нашла слов, чтобы признаться в том, что ее гложет и попросить о помощи. Она была заперта в себе. Рыжая тоже, в каком-то смысле. Готов поспорить, что и Тоби толком не понимает, что творится в ее голове.

— Ну так что, — тороплю я, — что им было от тебя нужно? Чего они докопались?

Рыжая внезапно слегка улыбается, но это такая болезненная, вымученная улыбка. И в следующей фразе, выведенной на бумаге, мне мерещится упрек в мой адрес.

«А разве нужна причина?»

— Ты мне скажи, — увиливаю я.

Девчонка шумно выдыхает. Ладно. Ей не сбежать от прямого ответа, раз уж она в каком-то смысле приперта к стенке или, быть может, расценила меня, как меньшую угрозу. Выскочи она из машины — попадется тем стервам. Они все еще вполне могут ошиваться где-то поблизости, чтобы продолжить начатое.

Следующий лист блокнота весь испещрен буквами от верху до низу:

«Они говорят, что я покрасила волосы, чтобы быть как Люсиль Болл, и это не настоящий цвет, но от этого я не стану ей, а все...».

Рыжая перелистывает страницу, намереваясь написать что-то еще, но я прерываю ее взмахом руки. Сигарета в пальцах догорела и пепелит в салон. Меня душит смех — это и правда забавно. Злые дети. Но не мне их судить. Я тоже легко нашел причину, чтобы возненавидеть ее. Не за волосы или немоту. Просто за то, что она есть.

— И что? — спрашиваю я. — Это правда?

Рыжая замирает и непонимающе смотрит на меня. Должно быть, самый длинный и открытый ее взгляд за весь минувший год. До того она лишь украдкой косилась в мою сторону, думая, что я не вижу. Я замечал. И это страшно ездило мне по нервам — эти ее осторожные взгляды.

Она не понимает, что я над ней подшучиваю, что это не серьезный вопрос. Но она не виновата, прежде подобное казалось немыслимым. Но сейчас... Сейчас я будто столкнулся со своим страхом, со своим врагом лицом к лицу. И враг оказался незначительным, придуманным. Нашел, тоже мне, с кем враждовать. С мелкой безобидной пигалицей. И из-за чего? Из-за того, что Тоби выбрал ее, а не меня. Она, что ли, в этом виновата? Не она, а я сам. Он злился, что я не сказал ему правду о маме, предал его доверие... И нашел способ отомстить за предательство. Другим предательством. Это, как и упрямство, у нас в крови. Отец предал маму, женившись снова. Мы с братом справились с задачкой по-своему.

С этим пора заканчивать.

По крайней мере, эта бедная девчонка не заслужила стать орудием в войне, смысл которой ей непонятен. Она... Я впервые, наверное, смотрю на нее внимательно и не вижу ничего, что могло бы вызывать реальную неприязнь. Из-под юбки торчат толстые колени, рубашка и пиджак висят, как с чужого плеча, огненные волосы всклокочены после стычки с одноклассниками, запястья настолько тонкие, что я мог бы сломать их двумя пальцами, как сухие ветки. Она не противник, не враг мне. Нужно это признать. Давай, Винс. Ничего сложного.

И, в конце-то концов, она твоя сестра. Нравится тебе это или нет. На правах старшего ребенка, ответственного, наделенного невеселой обязанностью тянуть на себе разваливающуюся семью, ты должен о ней позаботиться, как и о Тоби. Не шпынять. Ей и так приходится несладко — рыжая, немая, с матерью творится что-то неладное, отец ее не замечает, а одноклассники обижают за внешность и, надо думать, за немоту тоже. Но Лора настоящая — ее дочь не будет учиться в коррекционной школе и точка, хотя ей, наверное, было бы куда комфортнее среди таких же ущербных детей.

Мне делается до смерти стыдно за свое поведение на протяжении минувшего года.

А всего-то нужно было один раз оказаться с ней наедине в замкнутом пространстве, чтобы заметить, как она уязвима. Тоби прав — бесчестно отыгрываться на том, кто не может дать сдачи.

Пауза затягивается. Каждый из нас думает о чем-то своем. Рыжая, выходит, по-своему трактует ситуацию. Она снова пишет в блокнотике:

«Не стоило».

Да гори все огнем! Я вообще-то пытаюсь хоть что-то исправить. Меня так и подмывает развязать спор, высказать ей все наболевшее, но, предвосхищая мое намерение, она выскакивает наружу и бросается бежать. Словно я за ней погонюсь!

Кофта лежит на сидении. На ней остались алые отпечатки пальцев сестры.

Я выхожу из машины, оглядываюсь, чтобы посмотреть, как ее маленькая фигурка становится все меньше и меньше, пока не исчезает за высокими кустами. Я швыряю окурок на землю и сердито давя его носком ботинка. И вдруг вспоминаю про еще один блокнот, который у рыжей отобрали те девчонки. Он так и валяется на траве.

Я поднимаю его и задумчиво пролистываю страницы, исписанные ее крупным почерком. Как правило, она торопится дать ответ и ей некогда красиво выводить буквы. Но между обрывков фраз, вырванных из контекста, встречаются и рисунки. Ничего заслуживающего внимания — наброски деревьев, домов, какие-то абстрактные закорючки. И все же — она неплохо рисует. Я разглядываю ее черкотню, пока не натыкаюсь на слова, что быют наотмашь, и гадаю, кому эта фраза предназначалась:

«Я думаю, она скоро умрет».

Я оставляю блокнот у себя, так и не решившись вернуть его девчонке или просто незаметно подбросить ей в комнату. Я продолжаю размышлять о тех словах и искать в них смысл, хотя говорю себе, что, возможно, придумал повод на ровном месте. Вдруг они с Тоби просто обсуждали какой-нибудь фильм, книжку или комикс. Мне хочется так думать. Но я не слепой и, к несчастью, не глупый, чтобы успокоиться таким объяснением. Кое-что начинает проясняться — загадочные отсутствия мачехи и то, как паршиво она выглядит.

Но в конце весны я отвлекаюсь от своего расследования.

Впервые в жизни слышу, как отец кричит на Тоби. По правде, он вообще никогда не повышает голос — дедовская школа, вкладывать всю силу гнева именно в интонации. Когда отец решает проблемы на предприятии, когда на него давят профсоюзы, когда он уличает поставщиков в обмане или некачественном продукте, он всегда говорит тихо и вкрадчиво. С нами тоже. Мне еще, бывало, доставалось немного отцовского фирменного стального, командирского голоса, но с меня и спрос выше. А Тоби... ему все сходило с рук — и плохие отметки, и вот те глупые драчки. Но он перегнул палку, завалив парочку важных тестов, что утаил ото всех, и в школе опять подняли вопрос о том, чтобы оставить его на второй год. Такими темпами он окончит школу только в глубокой старости. Это не дело. В результате отец идет на компромисс — Тоби поедет на все лето в специальный лагерь, где его будут подтягивать по всем предметам. Ему это не нравится, но это лучше, чем еще один год в том же классе.

Я жду, что огребу за компанию, но отец вызывает меня к себе не для этого. Он нечасто пользуется кабинетом в доме, ведь вся его работа сосредоточена на фабрике, но сегодняшний разговор конфиденциален. Вот он и решил воспользоваться помещением, где когда-то еще дед проводил много времени. Здесь все хранит память о нем: высокие шкафы с какими-то папками, фотографии на стенах, монументальная старая мебель — стол, размером с целый нефтетанкер и кожаные кресла.

Отец обрезает край сигары и прикусывает ее. У него уставший вид, а голос охрип после криков, которые я слышал с другого конца дома. Галстук ослаблен, верхняя пуговица на рубашке расстегнута. Он смотрит за окно, как на ветру качаются ветки дерева в саду. В помещении пыльно и темно. Его жилистая сильная рука барабанит по темному дереву столешницы.

Он говорит:

— Мне было бы куда легче, если бы он был таким, как ты, — и это, кажется, почти похвала. Если нет, то просто констатация факта. Я прекрасно понимаю, о чем он говорит. Я привык быть удобным и не доставлять проблем, делать, что велено. Иногда у меня создается ощущение, что я какой-то робот, как те, о которых Тоби любит читать, следующий программе, заложенной в мое естество. Тоби другой — он живой, противоречивый, эмоциональный, оттого доставляет массу проблем. Мои эмоции всегда под контролем. Странно это осознавать, но моя ненависть к рыжей девчонке — первое иррациональное чувство, что я позволил себе со смерти матери. Может быть, я оттого и вцепился в свою неприязнь так сильно. Она делает меня обычным, дает мне что-то свое, уникальное.

В любом случае, я не знаю, что ответить отцу. А он тем временем продолжает:

— Надеюсь, что лагерь пойдет ему на пользу.

Да, я тоже.

— Но у меня будет к тебе просьба, — вот это уже куда более ожидаемо. Отец вспоминает обо мне в двух случаях, когда приходит время пожинать плоды моих трудов в учебе и спорте, ибо какой родитель откажется присутствовать на каком-нибудь там награждении в школе, и когда ему что-то нужно. Присмотреть за Тоби, пока мама не в себе или убивает себя. Сказать Тоби, что он надумал снова жениться. И теперь...

Я гадаю, не попросит ли он потащиться за братом в лагерь, чтобы проконтролировать его успехи или пресечь попытки к бегству. Я в курсе, что такое эти лагеря, не многим лучше тюрьмы. Каждый день расписан по минутам, а глупостям, которыми любит заниматься Тоби, и вовсе не отведено и малейшего места. Надо думать, он быстро взвзывает от такой муштры.

— Ты останешься за старшего, пока нас не будет, — говорит отец.

Я недоуменно моргаю — «нас» и «не будет»? Как это понимать?

— Мы с Лорой едем в Европу, — поясняет он. — Эта поездка займет прилично времени.

Ах, вот оно что — их тайные совместные дела, связанные со здоровьем мачехи.

— Лора не хочет, чтобы мы брали девочку с собой, — продолжает отец. Он тоже никогда не зовет сестру по имени, для него она просто «девочка», просто балласт, часть багажа, что Лора принесла в этот дом вместе с собой. Лора... Я тут же вспоминаю фразу из блокнота рыжей и свои попытки найти ей объяснение. В конце-концов, я не Тоби и нет смысла утаивать от меня информацию. Через год я уеду в колледж. Я имею право знать, что у них происходит.

— Что с ней? — прямо спрашиваю я. — С мачехой.

Отец поднимает на меня глаза и смотрит сквозь дым. В этом взгляде заключено слишком много, трудно разобраться в мешанине разных чувств. Но преобладает среди них печаль. Так же он смотрел, когда вынужден был сообщить мне новость о том, что мама покончила с собой.

— Она очень больна, — говорит отец, подтверждая мои подозрения, — и ей нужно пройти обследование у одного хорошего специалиста.

— Очень больна, — повторяю я.

«Я думаю, она скоро умрет» — всплывает в моем мозгу. Ситуация кажется абсурдной и мне хочется рассмеяться и спросить отца, что с ним не так. Почему он выбирает в спутницы жизни только тех женщин, кто обречен на гибель. Он ведь мог после мамы жениться на любой другой — молодой, пышущей здоровьем, но по какой-то причине выбрал чахлаю и больную. Или отец не виноват? И высшие силы наказывают его за что-то, вынуждая снова и снова терять тех, кого он любит. Я думаю, что он любит Лору, хоть не в его правилах открыто демонстрировать свои чувства.

Ему тяжело. Он снова проходит сквозь тот же ад, что и с мамой, снова вынужден бороться с чем-то, ему неподвластным. Моя роль обеспечить ему надежный тыл в это нелегкое время. Но что-то взрывается во мне. Накопилось слишком много вопросов — и я задохнусь, если не получу ответы хоть на часть из них.

— И давно?

— Давно, — кивает он.

— Ты знал об этом, когда женился на ней?

Брови отца смыкаются на переносице, и глубокая вертикальная морщина пересекает его лоб. Его удивляет мое внезапное любопытство. Я редко лезу туда, куда не просят. Это совершенно на меня не похоже. И что за странный вопрос, будто это обстоятельство повлияло бы на его решение.

— Знал, — подтверждает отец, — но это не имеет значения.

— Она умрет?

Я перегнул палку. Взгляд отца тяжелеет, делается враждебным. Он с силой тушит сигару в большой металлической пепельнице, и ошметки табака и бумаги рассыпаются вокруг. Он качает головой.

— Нет, — односложно отсекает он. Но я слышу другой ответ. Он так не думает. Он готовит себя к самому худшему. К еще одним похоронам и еще одному осиротевшему ребенку. И что в таком случае будет с рыжей? Он вышвырнет ее? Она ему никто. Я не замечаю, как говорю это вслух.

— Она моя дочь, — твердо говорит отец. — Я не выгоню ее, даже если с Лорой что-то случится.

Он произносит это совсем тихо, почти шепотом, будто громкость голоса способна умирить разрывной эффект самих слов. Я теряюсь под сокрушительным напором эмоций.

— В этом нелегко признаться, — продолжает отец. — Много лет назад у меня был роман с Лорой. Твоя мама ничего не знала. И Тоби об этом знать не нужно. Надеюсь, ты сможешь сохранить это в тайне.

Мне хочется закричать ему в лицо, заявить, что в этот раз я не смогу выполнить его требование. Он просит слишком много. Не представляю, как жить с этой правдой — с новостью, что он изменял нашей матери, что у него все это время был ребенок на стороне и другая семья. Немыслимо. В эту минуту я ненавижу его так, как никогда никого не ненавидел. Он лжец и лицемер. И я ненавижу Лору и желаю ей поскорее сдохнуть от той болезни, что ее гнетет. Они оба заслужили все это.

Но я привык делать то, что мне велят. У меня нет слов, потому я просто киваю. Да, я сберегу твой гадкий секрет, отец. Я унесу его с собой в могилу. Но я больше никогда не смогу смотреть на тебя, как прежде, считать тебя идеалом и образцом для подражания. В смятенных чувствах я ухожу, чтобы побыть в одиночестве и все обдумать. И как назло, спустившись в сад, вижу там рыжую и ее проклятую мамашу. Лора о чем-то тихо говорит девчонке, склонившись к ней, а та смотрит перед собой пустым, остекленевшим взглядом.

Я думаю, лучше бы умерли они обе, лучше бы не существовали вовсе, но мои ярость и злость быстро стихают. Картина, исполненная печали, тушит пожар в моей душе. Я не хочу видеть, но вижу, как горбится девчонка, сидящая на качелях, как осунулось ее лицо, как бледна и прозрачна кожа Лоры. Они не выглядят довольными тем, что проникли в чужой дом, в чужую жизнь, построив свое счастье на пепелище чужого благополучия.

Они будто прощаются.

Отец звонит почти каждый вечер, чтобы справиться, как дела дома. Я предоставляю ему сухой, односложный отчет. Я по-прежнему страшно зол на него. Тоби звонит куда реже. В лагере им не позволяют часто пользоваться единственным телефоном, и все разговоры с ним — сплошь жалобы на ужасные условия и просьбы забрать его из этого ада на земле. Он спрашивает меня, как там поживает его — наша — сестра. И вот тут я теряюсь, что ему ответить. Она и сама выглядит так, будто ее снедает ужасный недуг.

Мы не взаимодействуем, и каждый по большей части предоставлен сам себе. Иногда я захожу к ней, чтобы передать какую-то весточку от отца и Лоры, но это каждый раз стоит мне огромных душевных сил. Меня так и подмывает сказать ей что-нибудь в духе «твоя чертова мамаша еще не сдохла». Это было бы жестоко и глупо. А сама рыжая не спрашивает. Она побаивается меня и правильно делает.

В один из жарких июльских дней я приезжаю домой пораньше и застаю ее за роялем. Она испуганно вскакивает, готовясь к тому, что я устрою скандал из-за того, что поймал ее с поличным, но я этого не делаю. Просто смотрю на ее угловатую, мелкую фигурку с напряженно прямой спиной, объятую солнечным светом из окна.

Девчонка тянется к блокноту, оставленному на крышке рояля. Я пресекаю ее порыв оправдываться и говорю, пока она не начала строчить какую-то чушь или не сбежала:

— Можешь остаться. Я разрешаю.

Она изумленно выгибает брови. Все же принимается писать и показывает мне страницу, на которой одно-единственное слово.

«Почему?»

Общаясь с ней, я словно заражаюсь ее немотой, и слова застревают в глотке. У меня много слов, потому что с отъезда Лоры с отцом и нашего вынужденного заточения в доме, я много думал.

Потому что она не виновата в том, что отец изменял с ее матерью моей матери. Потому что она лишь такая же заложница обстоятельств, как и я. Потому что, между прочим, я не глыба льда, как говорит Тоби, и у меня есть сердце, а оттого я, к несчастью, сопереживаю ее горю. Я знаю, что такое, когда близкий тебе человек угасает на глазах.

Я знаю, что она чувствует. Моя мать тоже была больна. А еще она — эта рыжая девчонка — моя сестра, нравится мне это или нет. Вероятно, она и сама не знает правды о своем происхождении. Ей куда хуже, чем всем нам. И все так чертовски сложно!

Я проговариваю все это про себя.

Пожимаю плечами. Я не обязан отчитываться перед ней о причинах своего решения. Ни этого, ни другого, которое принимаю в этот самый момент.

Среди маминых вещей я нахожу ее старую телефонную книгу и молюсь всем известным богам, чтобы данные в ней не устарели. Мне везет. Мне удастся связаться с одной маминой давней подругой, с которой они когда-то вместе учились в колледже. Мы как-то были у нее в гостях. Она живет на другом конце города, но, к счастью, не на другом конце вселенной. Теперь дело за малым. И это самое сложное.

Я ловлю рыжую после завтрака, до того, как она уйдет бродить где-нибудь в одиночестве. Она ест в компании нашей кухарки Мод, старой, добродушной негритянки. Они довольно близки, но я понятия не имею, что может их связывать и как они общаются. Мод не знает языка жестов и, кажется, едва умеет читать. При виде меня она подбирается, складывает руки на груди и готовится вступить за свою любимицу. Она в курсе, что у нас не самые теплые отношения со сводной сестрой.

— Ты закончила? — спрашиваю я у рыжей. Она опускает глаза к пустой тарелке перед собой — соврать не получится. — Хорошо, — киваю я. — Тогда собирайся, поедешь со мной.

Ее пальцы висят над обложкой блокнота, но она так и не решается спросить, что мне от нее понадобилось. За нее это делает Мод, она следует за мной попятам, когда я оставляю сестру теряться в догадках.

— Что это ты задумал? — интересуется кухарка. Она совсем крошечная, но ее маленький рост не способен меня обмануть. Ее темные глаза воинственно блещут. Вероятно, если ответ ей не понравится, она ринется в атаку, игнорируя преимущество на моей стороне. Но я не собираюсь ввязываться в потасовку с безобидной старухой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.